

The book cover features a detailed, painterly illustration of a woman's face, which is partially obscured by a dense, vibrant garden of various flowers, including pink and yellow blossoms, and several small blue butterflies. The overall aesthetic is romantic and ethereal, with a soft, golden glow emanating from behind the woman's face.

Фигуры Сара Мосс *света*

роман



Сара Мосс

Фигуры света

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67479992

Фигуры света: Фантом Пресс; Москва; 2022

ISBN 978-5-86471-894-0

Аннотация

Тончайшая и пронзительная история взросления в особенной атмосфере прерафаэлитизма. Алли умна, прилежна и ведет нескончаемую – и неизменно безуспешную – битву за одобрение и привязанность своей матери. Ее мать Элизабет одержима миссией – накормить страждущих и спасти падших, и воспитание дочерей для нее – это соблюдение правил, дисциплина и аскеза во всем. Даже когда Алли получает стипендию и становится одной из первых женщин, изучающих медицину, мать остается равнодушна к успеху дочери. Но роман Сары Мосс о попытках женщины вырваться из цепей запретов и установок – это не столько история о зарождении феминизма, сколько погружение в мир семьи, где любовь запрятана слишком глубоко.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	49
Глава 3	88
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Сара Мосс

Фигуры света

© Анастасия Завозова, перевод, 2022

© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2022

© «Фантом Пресс», издание, 2022

* * *

*У нас есть клинические термины для тех, кто
не в себе, но не для тех, от кого не по себе.*

*Р. Д. Лэнг, А. Эстерсон, «Безумие: семейные
корни» (1964)*

Глава 1

«Благовещение»

Альфред Моберли, 1856

Холст, масло, 72 × 68,

Подписана, датирована '56

Провенанс: Джон Дэлби, Манчестер, после 1860; Джеймс Данн (арт-дилер, Лондон) 1872; сэр Фредерик Дорли, 1874; завещана Национальной галерее в 1918.

Женщина сидит за столом. В лужице свечного света на зеленом сафьяне отчетливо видна правая рука с зажатым в ней пером. Тисненая золотая кромка рассекает свет, будто тропинка – лесную поляну, и Моберли изобразил блики пламени на серебряной чернильнице и на ее лице. На руке нет колец, ничего не блестит на шее, где серый воротник скрадывает бледную кожу, впадинку между ключицами. Платье – это отсутствие самого света, хотя обычно Моберли любовно выписывал одежду, цвета и фактуру тканей, кожи. Волосы женщины сливаются с обступающей ее темнотой, прически не разглядеть. Она смотрит куда-то вверх, в сторону белой стены позади стола; судя по выражению лица, в дверь только что постучали. Наверное, какая-нибудь горничная зашла с банальным вопросом насчет стирки или ужина, хотя на самом деле единственная ее служанка уже

давно должна спать. Из писем Элизабет Сандерсон Моберли мы знаем, что она ратовала за ранний отход ко сну – по крайней мере, когда речь шла о других людях. Моберли поймал выражение лица, не успевшее смениться вежливостью, миг до того, как она, сказав: «Войдите», приняла любезный вид. Кем бы ни был вошедший, создается впечатление, что мадонна ему не рада.

Любой на его месте, потом говорил он Джеймсу Стриту, любой художник, хоть прошлых времен, хоть ныне живущий, изобразил бы ангела. Но Моберли интересовали не призраки, а пробелы, следы отсутствия. Фантомы, тени, отголоски; настоящие истории, твердил он, начинаются после того, как все случилось. Он так и не сознался в том, что выявил недавний анализ холста: что начал рисовать Гавриила – охваченный пламенем, неземной образ – и затем передумал. Стрит вспоминает, как тот однажды писал «Благовещение» после какой-то пирушки, при свечах, чертыхаясь в темной студии, вздымавшейся над ним церковным сводом. Обычно он работал по утрам, предпочитая встать пораньше.

* * *

– Элизабет в гостиной, – говорит ему Мэри. – Мама снова вызвала ее на пару слов.

Она убегает, перескакивая с красной плитки на красную,

стараясь не наступать на синие, оставив входную дверь нараспашку. В другом конце коридора открыта дверь в сад; когда он вешает шляпу, сквозняк ворошит лежащие на подносе письма, и входная дверь захлопывается. Ему это нравится – как дышат дома, как движутся в них вещи. Слева отворяется дверь, из-за нее выглядывает Элизабет. Он не может сдерживать улыбки. Женщины нынче не могут высунуться из-за двери, не могут проскользнуть в комнату. Его друг Уильям уверяет, что летом его сестры сплющивали друг дружке кринолины, чтобы протиснуться к себе в спальни, что они больше не могут прилечь на кушетку после обеда – иначе их юбки будут глядеть в потолок. Он живо воображает себе младшую сестру Уилла, Луизу, в этом положении, вид снизу.

– Это ты, – говорит Элизабет.

Привстав на цыпочки, она легонько задевает его щеку своей. Отстраняется, и он берет ее за руки, любуясь кольцом ее волос, округлостью груди под палево-голубым платьем в мелкий цветочек. От нее пахнет лавандой и свежевыглаженным бельем. Она вся его.

– Это Альфред? – кричит миссис Сандерсон.

– Я только покажу ему розы, мама.

Она увлекает его за собой, в сад, и, оказавшись под ярким солнцем, он по-совиному моргает. Он пришел пешком, прямиком из конторы, и ему было хорошо в коридоре, где пол выложен плиткой и веерное окно в двери затенено широким крылечным козырьком и где поэтому всегда прохлад-

но. Струйка пота снова бежит по спине.

– Я сейчас принесу тебе попить, – говорит она. – Мэри делает какую-то, как она говорит, лимонную воду. Мама рассердилась, она всю мяту оборвала. – Она стоит перед ним, ее тень – камейя на колышущейся траве. Она трогает его за рукав. – Вы обо всем договорились? Он наш?

Он водит пальцем по тыльной стороне ее ладони, рисует завитушки, еле касаясь кожи. По ее плечам пробегает дрожь. Хорошо.

– Завтра подпишу все документы. Ты не передумала?

Она взглядом велит ему не говорить глупостей.

– Ты ведь понимаешь, что там будет пусто? Совсем не так, как в этом доме.

Она оборачивается, берет его под руку, и вместе они идут в тень, под ивы, ее юбка цепляется за его штанину.

– Мне хочется простора, – говорит она. – Не хочется много вещей. Хочется пройтись по комнате, ни на что не натыкаясь. И никаких штор. И ковров. Пусть будет просто голый пол.

– согласишься ли ты на кровать? – Он обнимает ее за талию. Их тени сливаются, исчезают в тени листьев ивы. – На стол? Или спать и есть мы тоже будем на голом полу?

Она отталкивает его руку.

– Я ведь говорила, что письменный стол отдала мне бабушка. И старую кровать. Смастери нам обеденный стол. Время у тебя есть. – Она взглядывает на него, что-то прики-

дывая в уме. — И я решила насчет медового месяца. Мне бы хотелось поехать к твоей кухне в Уэльс.

Он кивает, ему хочется присесть, дать отдых ногам. Она права насчет Уэльса, он знает, если они поедут к ее дяде в Кембридж, то вскоре он все время будет проводить с Хенли, а не с ней. Они еще увидятся с Хенли. И она ошибается, у него нет времени на то, чтобы мастерить им стол, но он все равно его сделает, для нее, для них обоих, для их дома. Столы и кровати, думает он, еда и случка: жизнь.

* * *

Господи, даруй мне покаяние всецелое во всех моих преступлениях, также и в тех, что не вижу я по слепоте моей. Открой мне волю Твою и помоги исполнять все, как Тебе угодно. И прошу Тебя, Господи, пусть через меня и Альфред придет к свету, чтобы мы, осененные Твоей милостью и добродетелью, вошли рука об руку в Царствие Твое, когда пробьет наш час. Аминь. Она поднимается с колен, встает на ноги одним резким движением. Господь рядом, Его присутствие ложится ей на плечи, будто нагретая у очага шаль. Она подходит к окну, отдергивает штору. От дыхания летней ночи дрожит огонек свечи, тени скачут по гобеленовым обоям. На западе, за ивой, еще светло. Шелестит высокий, вровень с домом, вяз, его листья чернеют в нерешительной темноте городского неба. С дороги доносится перестук лошадиных

копыт, громыханье колес — никто никуда не спешит. В новом доме, думает она, наверное, не будет слышно уличного шума. Там будут два бука, все, что осталось от леса, на месте которого выстроили новые дома. Они посадят фруктовые деревья, мама всегда говорит, что глупо выращивать цветы и тратить на фрукты с овощами. Яблони, шафранный пепин, который тут растет за каретником, и еще айву, потому что Альфреду понравилось варенье, которое она варила из нее в прошлом году. Сливы. Мэри потом поможет их собирать. Она кусает губу. Днем она стойко переносит мысли о расставании с Мэри, иногда даже радуется им. Не стоит пускать землю в огороде под лук и картофель, их круглый год можно задешево купить в любой лавке, а вот салат и горошек она высадит. Нужен ли для огурцов парник? Что ж, думает она, а почему бы мне, почему бы миссис Альфред Моберли, и не обзавестись парником, если ей вздумается? Она отпускает штору, собирается с духом, ложится в постель. Простыни ледяные. Бабушкин стол она поставит в маленькой спальне. Если женщина сидит в гостиной, говорит мама, всем кажется, будто она только и ждет, когда ее отвлекут от дел. Чтобы поработать, иди наверх да запри дверь. (Мама и сама поставила письменный стол у себя в спальне; только у папы, говорит она, хватает духу там появляться, но после двадцати пяти лет брака он знает, что этого лучше не делать.) Альфред не хочет показывать ей эскизы нового полога для бабушкиной кровати. Пусть будет сюрприз, говорит он, в честь пер-

вой ночи в доме, и, улыбаясь, поднимает брови. Она отводит взгляд. Об этом мама тоже с ней говорила.

* * *

Ее новое платье – свадебное, как поясняет Мэри, с упоминанием раздражая маму, – галечно-серое, сшитое из отреза шелка, который Альфред подарил ей на Рождество. Ты не хочешь ничего гладкого, сказал он, ничего блестящего, но, быть может, сделаешь исключение для шелка? Спряденного червями в китайских горах. Он показал ей набросок придуманного им платья, и она с удивлением вскинула на него глаза. Он любит рисовать женщин среди драпировок и складок, разглядывать их, конечно, интересно, но это наряды не для церкви или работы. Она боялась, что крой окажется непрактичным, ткань – недолговечной. Но он к ней пригляделся, подумал о том, как она себя видит. Платье такое же, как и все остальные ее платья, скроено как одежда работающих женщин – чтобы юбка не стояла колоколом, чтобы подол был выше сточных канав и гниющих навозных куч, через которые ей приходится перешагивать там, куда заводит ее работа. Неразумно, говорит она, когда одежда волочится по земле, даже дома, и у слуг от этого только прибавляется бессмысленного труда. Что толку заматывать одну маленькую женщину в материю, которой хватило бы на целый взвод солдатских палаток, да и жарко ведь. Поэтому платье простое,

аккуратное, и от нынешних мод в нем остался только при-
таленный лиф клинышком, складки на корсаже и широкие,
ниспадающие рукава. («Я ими буду еду зачерпывать, – ска-
зала она. – Маме такие рукава не понравятся». «Зато они
нравятся мне, – сказал он, – и это я буду видеть тебя каж-
дый день».) И по краю подола, по кромке треугольных «ан-
гельских» рукавов и целомудренного выреза распускаются,
змеятся вышитые фрукты, цветы и листья, бутоны, усики и
пышные лепестки, виноград, клубника и круглые коронча-
тые плоды, которые зовутся гранатами. Вышивка тоже будет
серой, сказал он. Ничего вычурного, никаких контрастов.
Когда платье будет готово, сказал он, отошли его мне, а я от-
дам его в одну мастерскую вместе с законченными эскизами.
А когда мы поженимся, ты будешь мне позировать и я тебя
в нем нарисую.

К то-то – Мэри – разложил платье на кровати, пока она
принимала ванну. Она сбрасывает халат, находит в комод
чистые панталоны, сорочку, тонкие чулки, которые вчера по-
дарил ей папа («маме об этом можно не говорить»), корсет,
накорсетник, нижнюю юбку. Черные туфли совсем не подхо-
дят к платью, досадно. Нет, такие мысли недостойны ее вни-
мания. Она встряхивает головой – мокрые волосы липнут к
спине – и надевает первый слой одежды.

– Мэри, – зовет она, – Мэри, теперь ты можешь мне по-
мочь. Он знает, что невесте полагается опаздывать, таков
обычай, но Элизабет вряд ли опоздает, думает он, да и мис-

сис Сандерсон не допустит никакого жеманства. Они с Эдмундом приехали рано и сидят на скамьях для певчих, чтобы видеть, кто входит в церковь. Конечно, он знал, что Элизабет пригласила женщин из своего Общества благоденствия. Она даже спросила его об этом. Хотела его испытать, проверить. Да, ответил он, среди них больше истинных христиан, чем среди моих друзей. И не сказал, что для дружбы с ним вовсе не обязательно быть христианином. Со временем, думает он, когда она больше узнает о его мире, ее кругозор станет шире родительского. Он покажет ей радость, красоту: северный свет, падающий сквозь высокие окна на белые мраморные фигуры, дуэт голосов, берущий здание оперы наскоком, будто волны – берег, свечи и красное вино в бокалах – удовольствия, которых она была лишена всю жизнь, и в лучах его знаний она распухнет как цветок. Женщины из Общества тоже пришли рано, замельтешили дети, грязные ботинки, набитые сумки. Ходили за покупками, это в воскресенье-то? (У них нет других дней для этого, мысленно слышит он ответ Элизабет, они по шесть дней в неделю проводят на фабриках, и да, лавочники, к которым они ходят, торгуют и должны торговать в День Господень. Беднякам, Альфред, отдыхать некогда.) Женщины рассаживаются, будто птицы на лугу, беспокойно, выглядывая хищников. Это не их привычная среда обитания. Плачет младенец, мяуканье новорожденного, мать вытаскивает грудь и кормит его. В церкви. Он задумывается, и уже не впервые, была ли у Леонар-

до да Винчи модель, кормившая грудью, и не согласится ли заметно беременная и, насколько ему известно, незамужняя Шарлотта позировать ему вместе с ребенком. Младенец будет молчать, пока сосет грудь, думает он. И конечно, со временем у него появятся собственные... Эдмунд толкает его локтем. Его родители усаживаются на свои места, и Сандерсоны стоят в дверях.

* * *

Проход между рядами скамей кажется ей длиннее обычного, длиннее, чем вчера, когда она заглянула в церковь на минутку – собраться с мыслями. Витражное окно – крест пред зелеными холмами, ловцы человеков над синим морем – сияет на западной стене. В желтом солнечном свете мерцают ленты пылинок под алтарными окнами. Алтарь украшен лилиями. Люди оборачиваются. Здесь только женщины из клуба¹, мама с Мэри и родители Альфреда. Все, кто уже и так много раз ее видел. В серых лайковых перчатках потеют руки. Шпилька давит на кожу за ухом, и шею щекочет прядь-

¹ В противовес мужским клубам в XIX веке в больших количествах появлялись и женские клубы самого разного уровня – от дорогих, где членство стоило несколько гиней в год, до клубов, которые были чем-то вроде центров образования и поддержки. Элизабет и ее мать организовали как раз такой центр поддержки для нищих женщин и проституток, и название «клуб» было очень важно для них как для активных участниц суфражистского движения. – *Здесь и далее примеч. перев.*

ка волос, которой там быть не должно.

– Все хорошо? – тихонько спрашивает папа.

А если нет, думает она, если нет? Она берет его под руку, забывает, что другую руку, в которой она держит букет белых роз, надо поднять. Альфред стоит на самой верхней ступеньке у алтаря, лицом к прихожанам, будто священник. Она поднимает голову и идет к нему.

Все будет хорошо. Она об этом позаботится.

* * *

Ей не впервые, напоминает она ему, путешествовать поездом. Они с мамой ездили в Ливерпуль послушать миссис Хеншоу, которая рассказывала о своей работе, и несколько раз – три раза – папа брал ее с собой, когда ездил к члену правления в Олтрингем. И все равно, думает он, глядя на ее плечи под пелериной, на то, как она задирает голову, словно пытаясь учуять какой-то слабый запах, ей не по себе. Она, наверное, читала в газетах о том, что именно на этом направлении пассажиров уже несколько раз грабили, но, учитывая то, где она ходит почти каждый день и зачастую одна, он сомневается, что она боится преступников. Тогда чего же? Он вздыхает, придерживает для нее дверцу купе, протягивает руку, чтобы помочь подняться на ступеньку. Она обеими руками приподнимает юбки, и он видит кружевные вставки у нее на чулках. У молодой женщины найдется немало пово-

дов для уныния в первое утро свадебного путешествия.

– Ты сидишь против движения, – говорит он ей.

Она не отводит взгляда от окна.

– А может, я хочу видеть, откуда уезжаю.

– И не смотреть, куда едешь? Не самое обнадеживающее начало, Элизабет.

Она отворачивается от окна, взглядывает себе под ноги и снова принимается наблюдать за носильщиками, которые грузят чемоданы в тележку, за одетой в розовый шелк дамой под вуалью, оживленно говорящей что-то мужчине, который слушает ее слишком внимательно, чтобы приходиться ей мужем.

– Ну конечно. Жене полагается обнадеживать мужа. Прошу прощения.

Он сидит напротив нее и со своего места заметит первые проблески моря, а когда пути будут изгибаться, увидит паровоз – радости, о которых он еще даже толком не думал.

– Ты сердишься на меня, – неуверенно говорит он.

– Альфред, даже в браке я не стану думать только о тебе. Я уезжаю из дома, разумеется, это сказывается на моем настроении. Неужели ты не взял с собой газету?

Газету он взял, сомневаясь, правда, уместно ли читать сегодня, в первый день, который они проведут одни, вместе. Он вытаскивает газету из саквояжа, разворачивает ее перед собой как ширму, принимается за чтение. Он перестал следить за тем, что происходит в Италии, а после вчерашнего

разговора с отцом он опасается, что все-таки есть темы, о которых человеку просвещенному, похоже, полагается иметь мнение. Элизабет – которая теперь не отрывает взгляда от двух маленьких мальчиков, гоняющих по платформе мяч из скомканной газеты, – кажется, как раз такой человек. Правой рукой она нащупывает сквозь перчатку кольцо на левой руке и начинает пошатывать его, будто больной зуб.

– Можем отдать в переделку, – говорит он. – Если тебе неудобно.

Она вопросительно на него взглядывает.

– Кольцо, – уточняет он.

– Не нужно.

Правая ладонь Элизабет смыкается над левой, так обычно берут за руку вертлявого ребенка, чтобы перевести его через дорогу. Это как с милостыней, думает он, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Что-то в этом духе. Он откладывает газету, вытаскивает альбом и начинает зарисовывать ее руки.

* * *

Звучит свист, поезд рывком трогается. Карандаш подпрыгивает, Альфред чертыхается. В ее клуб женщин допускают только при условии, что они не будут сквернословить, – неважно, что они себе позволяют в других местах. Станционные плиты за окном начинают бежать быстрее. Она еще

видит двух мальчишек, которым, как сказала бы мама, куда полезнее было бы поучиться какому-нибудь ремеслу. Мэри сказала, что хочет помочь Беатрис в клубе на этой неделе, и мама согласилась, пусть помогает, самое время ей увидеть, в каком мире она живет. Мэри, сказала мама, заметив ее восторги по поводу вышитого платья Элизабет, в последнее время слишком много думает о всяких безделушках, к четырнадцати годам пора бы это уже перерасти. Вокзальные часы на другом конце платформы становятся все меньше. Сегодня понедельник, мама поедет в Сэлфорд, в новую школу, чтобы потом написать еженедельный отчет учредителям. Журнал наказаний вызывает беспокойство, кажется, мисс Хелстон не поняла, что в отношении телесных наказаний у комитета очень твердая позиция. Насилие, говорит мама, учит только насилию, порывы своих страстей нужно обуздывать самим, а не полагаться в этом на других. Мост возносит поезд над позорными жилищами Хьюма. Под мостом спят люди, и не только пьяницы и уличные женщины, но и дети, которым больше некуда податься. Всего несколько ночей под этими сводами, и их детство закончится. Она вспоминает, как мама учила ее владеть собой. Сейчас, Элизабет, я повяжу тебе на руку ленту, чтобы ты, глядя на нее, вспоминала о своем проступке и знала, что я о нем тоже помню. Если свою службу она сослужит, то в воскресенье мы ее снимем. Знаешь что, Мэри, перед тем как выйти из дому, положи-ка вот этот камешек в ботинок и зашнуруй покрепче, чтобы каж-

дый твой шаг напоминал тебе о том, как ты нас разочаровала. Мама собирает камешки в парке, складывает их в стоящую на столике у двери корзину, которую сплел кто-то из ее подопечных. Право же, мама, говорит Мэри, этак ты и властницы велишь нам носить. Может, тебе станет легче, если ты попросту надерешь мне уши? И стоит маме отвлечься, как Мэри снимает ботинок, прямо на улице, и вытаскивает камешек. Мэри уже знает, что камешек надо сберечь, а вернувшись домой, притвориться, что он все время был у нее в ботинке; мамины методы не сказать чтобы жестокие, но она верит в целительную силу боли. Элизабет опасается, что в подобных случаях ей будет не доставать маминых наставлений. Нужно как можно строже следить за собой, строже обычного.

Она скрещивает ноги. Альфред, не спросив разрешения, рисует ее. Нужно чем-то заняться – шитьем, чтением или написать письмо. Мама дала ей новую книгу миссис Хеншоу, о женщинах и труде, чтобы она с пользой провела время в поездке. Они уже на окраине города, и небо светлеет. Вдали виднеются холмы, и она мысленно представляет себе школьный атлас. Вот хребет Англии, вздымается над Трентом и сбегает к Клайду. Она никогда не бродила по холмам, не бывала в Шотландии и, до сей поры, в Уэльсе. В рощице ерзают на ветках листья. Он, думается ей, не лицо ее рисует. Руки так и мелькают, для такого крупного мужчины у него очень тонкие пальцы. Она вспоминает тяжесть его тела в темноте, в

гостиничном номере с непривычными формами и очертаниями, с накрахмаленными простынями, оказавшимися грубее домашних. Надеюсь, мадам, вы выпались, ухмыляясь, сказала горничная, которая принесла им утром чай. Надеюсь, вы тоже, с улыбкой ответила она, сидя в наглухо застегнутом пеньюаре. Как будто не могла, если б захотела, отпустить шуточку повульгарнее тех, что этой девушке приходилось слышать в людской. Она знала, чего ожидать, и реальность удивила ее разве что своей буквальностью. Он действительно засунул это туда. И он сделает это снова.

– Альфред, – говорит она, – ты слышал историю о девушке, которая в брачную ночь, оставив мужа в гостиной, поднялась в спальню и усыпила себя хлороформом? И оставила на подушке записку: «Мама сказала, можете делать все что вам угодно».

Карандаш висит над бумагой.

– И это не слишком-то обнадеживает. – Он взглядывает на нее. – Тебе хотелось бы, чтобы и твоя мама снабдила тебя хлороформом?

Теперь они едут через поля, по чеширской пологости.

– Нет, и ты это прекрасно знаешь.

Карандаш снова приходит в движение.

* * *

Когда он замечает огни Пеннард-Хауса, уже давно стем-

нело. Вокруг чернеющие в летней ночи изгороди и кокосовый запах дрока, которым их обдает всякий раз, когда колеса повозки соскальзывают на обочину. Он даже решился приобнять ее, и хотя она по-прежнему сидит вытянувшись в струнку и все толчки и кочки отзываются в ее теле так, словно оно на шарнирах, она его не оттолкнула.

Она снимает капюшон.

– Нас кто-то дожидается.

– Миссис Брант. Экономка. Будет чай и бара брит².

Она оборачивается к огням на холме:

– В доме много прислуги?

К слугам она не привыкла. Миссис Сандерсон держит кухарку и всего одну горничную, полагая, что здоровому взрослому человеку ничто не мешает самостоятельно одеться и развести огонь в камине. Оно и к лучшему – учитывая его доходы.

– Никто не зайдет к тебе в спальню, пока ты сама из нее не выйдешь. Тут все живут по-деревенски. И еда здесь деревенская тоже.

По утрам – свежие яйца, а, может, еще и бекон с фермы. Домашний хлеб и только что сбитое масло. Он надеется, что после медового месяца Элизабет будет управляться с хозяйством получше, чем это делал он, пока жил холостяком.

– Есть мне хочется, – признается она.

² Традиционная валлийская выпечка или хлеб с сухофруктами.

Он мнется возле двери, соединяющей их комнаты. Все-таки в гардеробной стоит односпальная кровать, да еще разостланная, словно бы миссис Брант думает, что ночевать он будет здесь. Уже поздно. Элизабет устала. Он прижимает ухо к замочной скважине. Какая нелепость, говорит он сам себе, ты ведешь себя нелепо. Слышно, как льется вода, тяжелый кувшин со стуком ставят на мраморный умывальник. Струйки с дребезжанием стекают обратно в таз. Она умывается. Она уже надела ночную рубашку. Он постучит.

– Альфред? – говорит она. Пауза, шлепанье босых ног по половицам. Дверь открывается. – Я и не знала, что мужья стучат.

Он пожимает плечами.

– Ну вот, я стучу. Я думал, ты...

Он оглядывает ее с ног до головы. Босые ноги, с плеч сползает белая льняная рубаха, больше напоминающая саван, чем ночную сорочку новобрачной. Распущенные волосы, бледное и влажное лицо. Она очень похожа на темплесмитовского Лазаря, только без бороды.

– Входи же, – говорит она. – Мы ведь теперь женаты.

Бекон и вправду есть, и миссис Брант в фартуке стоит у чугунной плиты, которая тянется вдоль всей кухни.

– Доброе утро, – говорит она. – Выспались? Будете завтракать? А что миссис Моберли?

Она взглядывает в сторону лестницы.

Он усаживается за выскобленный сосновый стол, древесное зерно под его пальцами кажется теплым, как кожа, как женские бедра. Кузина Фрэнсис, думает он, наверняка давным-давно встала. «Я вам обоим буду очень рада, – написала она, – и знаю, что вы меня простите, если я, как и прежде, буду заниматься своими делами. Вам с миссис Моберли, конечно, захочется гулять и рисовать, а я потом с удовольствием послушаю обо всех ваших приключениях. В июне у меня столько работы в саду».

– Жена скоро спустится, – говорит он.

Румянец заливает лицо до ушей.

Миссис Брант подмигивает:

– Вы это впервые сказали?

– Я и не думал, что это прозвучит так странно.

Мысленно он уже примеривался к этому. Моя жена.

– Эдвард, позволь мне представить миссис Моберли. Не его мать.

Она ставит перед ним чайник.

– Привыкнете.

Она возвращается к бекону, берет из миски на столе яйцо, разбивает его в сковороду. И еще одно. Из-за ее спины ничего не видно, но он слышит, как потрескивает раскаленный жир. Она, наверное, вспоминает собственную свадьбу, когда впервые услышала, как мистер Брант – который, думает он, уж сколько лет покойник – назвал ее «женой».

– И скоро?

– Быстрее, чем вы думаете. – Она приподнимает краешек яичницы деревянной лопаткой, опускает обратно на сковороду. – Люди ко всему привыкают, вот что удивительно. Даже к вой не, как говаривал мой муж. Мне, правда, всегда казалось, что к младенцам привыкаешь до странного долго. И к тому, что кто-то умер. Тут уж годами удивляться можно. Жена ваша тоже яичницу будет, не знаете?

– Не знаю, – отвечает он. – Мы с ней завтракали только однажды.

* * *

Теперь она понимает, почему о свежих яйцах в Манчестере говорят так, будто это упавшие с неба звезды. Чревоугодие, и ничего более, говорит мама, когда тут же, рядом, живут семьи, которые уже лет пять не ели вообще никаких яиц. Желтки темно-оранжевые, почти красные, зажаренные на беконе белки похрустывают. Она вытирает тарелку нако-

лотым на вилку кусочком хлеба с зернами овса на корочке и какими-то семечками в мякише.

– Это твоя кухня там, в саду? – спрашивает она. – В ситцевом платье и соломенном капоре?

Такие капоры в последний раз видели в городе, когда мама была еще девочкой.

– Фрэнсис очень любит свой сад. Если ты закончила, можем к ней выйти.

Она провела несколько вечеров с его родителями и знает, что они ее одобряют. Не мотовка. Спокойная, благовоспитанная, а ведь сплошь и рядом только и говорят о том, на какие немыслимые союзы осмеливаются молодые художники. С ней он остепенится. Они боялись, наверное, что он женится на какой-нибудь своей натурщице. Но хватит ли одной респектабельности, чтобы заслужить одобрение кухни Фрэнсис? Элизабет оправляет юбку. По крайней мере, кухня Фрэнсис – мисс Моберли? – одета очень просто.

Снаружи холоднее, чем она думала, ветер яростно тянет ее за юбку, зато между небом и деревьями виднеется море. Белые волны вскидываются, обрушиваются в синеву, плывет корабль с башенкой белых парусов, похожих на развешанные для просушки листки бумаги.

– Прогуляемся потом к берегу? – спрашивает она.

Море она, конечно, видела и до этого. В Ливерпуле и еще, однажды в детстве, в Моркаме, с папой, хотя и помнит только, что был сильный отлив и от этого сам океан казался оче-

редной выдумкой взрослых, вроде того, что Земля вертится вокруг Солнца, а облака сделаны из воды.

– Можешь взять с собой краски, – предлагает она.

Тогда он сможет сесть где-нибудь и заниматься своими делами.

– Но мне хочется пройтись с тобой, – говорит он. – Миссис Брант, конечно же, соберет нам ланч.

Кузина Фрэнсис не слышит их шагов по траве. Он кашляет, затем касается ее руки.

– Альфред! – Она старше, чем думала Элизабет, под капором виднеются седые пряди, но стоит она совсем не горбясь и рыхлитель держит высоко, как иная старуха, бывает, держит веретено. – А вы, стало быть, Элизабет. Добро пожаловать, дорогая.

Она целует Альфреда в щеку, пожимает холодную руку Элизабет.

– Ну и как вам замужняя жизнь?

Я теперь никогда не бываю одна, думает Элизабет, и пока что мне совершенно нечего делать.

– Мы очень признательны вам за приглашение, – говорит она. – Я впервые в Уэльсе.

Кузина Фрэнсис похлопывает ее по руке.

– Надеюсь, воспоминания у вас останутся самые счастливые.

Они спускаются к морю по тенистой тропинке, и деревья у них над головами смыкаются в тоннель из яркой листвы. Альфред указывает на растущие вдоль обочины колокольчики и медвежий лук, замечает фиалки, спрятавшиеся в кустах ежевики. Дрок щетинится желтыми цветами и темными лезвиями шипов, издает непривычный аромат. Слышится птичье пение, но самих птиц не видно, словно бы это поет сам день. А в Манчестере коричневое марево и жара. Дома Мэри, наверное, сидит в саду, читает под ивой, и разглядеть ее за плакучими ветвями можно, только если подойти совсем близко. Мама заперлась у себя в комнате. На обед будет вареное мясо с картошкой, и запах еды потом еще долго будет висеть в воздухе. Тропинка делает поворот, и перед ними море. Плоские камни на берегу кажутся продолжением дороги и исчезают в воде, словно бы приглашая ее не останавливаться, уходить дальше, в море. В волнах вспыхивает солнце. Песок покрыт серой и розовой галькой, будто веснушками. Линия прилива исчеркана бурыми водорослями. Она подхватывает юбки и пускается бегом, вскакивает на нагретые солнцем камни, у ее ног плещется вода. Он ставит наземь корзинку с ланчем, смотрит на нее – как развешаются на ветру ленты ее шляпы и хлопают юбки, как она с улыбкой глядит на небо. Она оборачивается и замечает, что за ней наблюдают.

– Иди сюда, – кричит она. – Мы ведь женаты, значит, ноги помочить можем, правда?

Он подходит к ней, берет за руку.

– Мы можем даже искупаться, если захотим. Мы ведь женаты.

Они находят теплый плоский камень, залезают на него, усаживаются. Она открывает корзинку с ланчем; неудивительно, что она такая тяжелая. Там, в белой эмалированной посудине с голубой каемкой, лежат пирог с выпеченными на корке глянцевыми листочками, головка салата и голубой бу-
мажный кулечек – наверное, с солью. Две бутылки пива – она еще ни разу не пила пива, мама не одобряет – и фрукты, похожие на желтые сливы, но с теплой ворсистой кожицей, от которых ей хочется отдернуть руку, словно бы от чего-то живого, и опять бара брит, хлеб с изюмом, намазанные маслом, сложенные вдвое куски. Пара тарелок, пара ножей, пара вилок, пара салфеток. Столовые приборы, которые свело вместе ее замужество. Право же, глаза режет, когда сидишь на солнце. Альфред ложится на спину.

– Прилив начинается, – говорит он.

Чтобы выложить пирог, нужна ложка, а ложек нет.

Она поддевает корку ножом.

– Это важно?

Он поднимает голову.

– Конечно, важно. Мы с тобой ниже границы прилива. Вода поднимется дальше нашего камня, и мы застрянем здесь

на двенадцать часов, пока она снова не схлынет.

Он опускает голову, вытягивает руки, задевает ладонью ее спину. Они где-то в десяти футах от границы прилива.

– Или нам снова придется намочить ноги.

– Или мы можем остаться здесь, есть абрикосы и любоваться морским светом. Можешь декламировать стихи, пока я буду тебя рисовать.

Мясная начинка с крапинками зелени вываливается из пирога, когда она пытается переложить кусок ему на тарелку.

– Я ничего не смогу продекламировать. Мама говорит, зубрежка – главный враг женского образования. То есть я могу повторить склонения немецких существительных. Или проспрягать французские глаголы. Хотя все до единого. Но меня никогда не заставляли заучивать имена всех монархов в хронологическом порядке, и мама никогда не покупала всякие эти дамские поэтические хрестоматии. Она говорит, поэзию можно читать, можно не читать, но не стоит рубить ее на куски на потворство неразвитому интеллекту.

Он солит лист салата. Она кладет себе кусок пирога, поменьше, чем ему. Мама считает, что все мучное вредно.

– И ты с ней согласна? – спрашивает он.

Она отрывает себе немного салата.

– Да.

Ночью она просыпается. В комнате нет часов, да, сказать по правде, и не нужны они, поэтому миссис Брант с кузиной Фрэнсис как будто бы даже и не заметили, что она вчера проспала. Наверное, захоти она, и смогла бы всю жизнь спать до восьми и завтракать яичницей с беконом. От одной мысли по телу пробегает дрожь. Стараясь не слишком дергать одеяло, она переворачивается на другой бок, вытягивает ноги. Слышится вздох Альфреда, затем снова его ровное дыхание. Лунный свет пробирается под мятые занавески из набивного ситца со слишком тяжелым для такого материала подбоем, в зазор между ними. В доме тихо так, как дома никогда не было, это тишина старых каменных стен и темных полей, что тянутся до самого моря. Она пытается представить, как выглядит море в темноте. Поворачивает голову. От волос Альфреда пахнет помадой, от его ночной сорочки – хозяйственным мылом, не таким, как у нее. Со временем, думает она, когда у них будут общая кровать, общая прачка, общее мыло, они будут пахнуть одинаково. Мистер и миссис Моберли. Сзади на шее волосы у него растут так же густо, как и на груди; она и не знала, и мама ничего ей не сказала о том, что мужчины с головы до ног покрыты волосами, как обезьяны.

Ей хочется подойти к окну, поглядеть на деревья, на небо. Вечером они слышали сов, они никогда не видела сову. У

нее чешется нога, и Альфред, похоже, притащил в кровать песок с берега. Теперь она еще долго не будет спать одна.

Альфред сделал новый полог для бабушкиной кровати. Спрашивал: цветы и плоды, цветы и птицы? Придумывал узор для обоев с пчелами и цветущей жимолостью. А нельзя ли, чтобы они были без узоров, спросила она, белые или палевые, чтобы заметнее были резные опоры для полога? Ах ты квакерша, сказал он, у жены художника – и такой вкус! Скажи-ка, Элизабет, картины на стенах должны тоже быть безо всяких рисунков, чтобы рамы были заметнее? Новый полог, говорит он, будет для нее сюрпризом, когда они придут домой. К ним домой. Сейчас там красят стены, оклеивают их обоями. В каких-то комнатах почти не будет мебели, как ей и хочется, – до тех пор, пока они не смогут позволить себе правильные материалы, но ему важно, чтобы гостиная и столовая были обставлены, чтобы было где принимать будущих клиентов. Они ведь еще и поэтому купили дом, говорит он. Она не стала ему напоминать, что дом купил папа. Он, конечно же, ждет, что она станет давать обеды для всех этих людей, играть роль хозяйки. Он подарил ей книгу по домоводству, словно считает, что маминых наставлений будет недостаточно.

– Элизабет, – шепчет он.

– Ш-ш-ш. Еще ночь. – Она легонько поглаживает его, как когда-то, давным-давно, спавшую вместе с ней Мэри, которую мучили кошмары.

– Знаю. Ты не спишь.

– Я проснулась от лунного света, – говорит она.

Его лучи теперь клонятся в другую сторону, тянутся по черным половицам к петельчатой кромке умывальника.

Он садится в кровати. Волосы взъерошены, на левой щеке отпечаток смявшейся наволочки.

– Хочешь выйти? Посмотреть на луну как следует?

Хочет ли она?

– Что, прямо в ночных сорочках? Альфред, что скажет кузина Фрэнсис? И миссис Брант, разве она не здесь ночует?

– Нет. – Он откидывает одеяло. При виде его торчащих из-под сорочки ног она снова думает об обезьянах, об обезьянах в белом ситце. – Не удивлюсь, если кузина Фрэнсис сама сейчас в саду, разговаривает с розами, что-нибудь в этом роде.

Он отдергивает занавеску.

– Великолепие. Ты только посмотри. Идем!

Она отводит взгляд, когда он надевает брюки, натягивает одеяло до самой шеи. Мама настояла на том, чтобы из свадебных обетов убрали ее клятву во всем покоряться мужу. Тебе нужно быть свободной, чтобы делать то, что должно, сказала мама Элизабет, а мы с тобой знаем, что Альфред не сможет, по крайней мере поначалу, наставлять тебя в делах духовных. Это тебе надо привести его к Богу. Но свобода эта дана ей вместе с обязанностью не идти на поводу у собственного упрямства и своеволия. Слушайся мужа, когда

речь идет только о твоих интересах, чтобы добиться независимости там, где это действительно важно. Мама не предвидела, что ее будут уговаривать окунуться в море в одной сорочке и панталонах или выйти во двор посреди ночи в ночной рубашке. Она переворачивается на бок, ловко встает – так, чтобы подол не задрался выше лодыжек.

– Поддай мне накидку, – говорит она.

* * *

Я перестану все это замечать, думает она. По этой дороге я буду ходить каждый день и не буду видеть, какие деревья высокие, как сквозь листья каштанов пробивается небо. Не замечу кирпичного узора на дымоходе, который выложили расстаравшиеся строители, не увижу желтой лепнины на колоннах, каменных ананасов на воротных столбах. Этот фонарь ночью будет светить в окно нашей спальни, а изгородь с годами разрастется так, что за глицинией не будет видно шпалер. Экипаж останавливается, и клевавший носом Альфред вскидывает голову.

– Добро пожаловать домой, – говорит он.

Она вылезает из экипажа, не дожидаясь, пока кто-нибудь подаст ей руку, распахивает кованую калитку, идет, хрустя гравием, к парадной двери. Ключа у нее нет. Ее так и тянет толкнуть дверь, дергать за ручку, пока та не поддастся. Альфред еще расплачивается с кучером. Она заворачивает

за угол, где меж двух эркерных окон – столовой и гостиной – находится зимний сад. Альфред так и не успел переделать витражные панели над окнами. Она знает, что и эта дверь на замке, она и должна быть на замке, но все равно ее толкает, а затем идет дальше, к черному ходу, мимо высоких кухонных окон. Дверь покрасили в темно-зеленый, оттенок ей не нравится, и здесь тоже заперто. Позади слышится хруст гравия.

– Лучше ключом, – говорит он, протягивая ей ключ. – Это от парадной. Остальные в доме.

Она берет ключ, обгоняет Альфреда, проходит меж жилых изгородей обратно – на выложенное плиткой крыльцо. Оно шире, чем крыльцо у нее дома, здесь поместятся несколько человек с зонтами или, прикидывает она, смогут встать рядом две женщины в кринолинах. Ключ не поворачивается. У нее дрожат руки. Не надо ей помогать. Он стоит на ступеньках, у нее за спиной. Она входит в дом под бряцанье медного дверного молотка.

Оказавшись в квадратном холле с тиковыми полами, пружинистыми, как сказал строитель, для танцев – хотя танцевать тут негде, – она останавливается. Вокруг ждут своего часа пустые комнаты. Ждут, когда начнется их жизнь. Здесь были строители, думает она, они ели сэндвичи из бумажных пакетиков и пили пиво у меня в гостиной, ходили вверх-вниз по моей лестнице в пыльных ботинках, насвистывали у меня в спальне. Только у Адама и Евы был по-настоящему новый дом.

– Можно войти? – спрашивает он, выглядывая из-за двери.

Она оборачивается:

– Прости. Это же твой дом. Но ты здесь часто бывал, а я видела его только однажды.

Он входит, решает, что, пожалуй, не надо брать ее за руку. Она отходит в сторону, идет в гостиную.

– О.

Разумеется, она знала, что эту комнату он уже велел покрасить и оклеить обоями. Все равно что в лесу заблудиться, в сумеречном осеннем лесу. Теснятся пожухлые лозы, тянутся, извиваются их бледные усики, и просветы меж темных листьев складываются для нее в какое-то подобие глаз, вытянутых носов. Картинные рейки – как же можно вешать картины на таких-то обоях? – буро-коричневые, будто сырая глина, ни в одном доме она прежде не видела такого цвета, и стены над ними – еще темнее, словно торф, словно разверстая могила. Даже потолок тут цветной, цвета лужи на грязной дороге.

Он подходит к ней.

– Над шторами я еще работаю, – говорит он. – Нравится?

В окне искрится залитый солнцем сад, его зелень слишком пестрая, слишком яркая для этой подземельной комнаты.

– Здесь довольно темно, – говорит она. – Даже в июле.

– Зимой растопим камин. Зажжем свечи, повесим бархат-

ные шторы.

И будем себя чувствовать, думает она, будто лисы в подлеске, только вот лисьи норы не служат им еще и витринами.

– Тебе не нравится.

Он ее муж. Это ее дом. Может быть, со временем он научится – она его научит – ценить более простую жизнь.

– Я к такому не привыкла, – отвечает она. – Сам знаешь, какие простые у мамы вкусы. Я не приучена разбираться в такой пышности. Такой броскости.

(Он тянется к ее руке.) Покажи мне столовую.

* * *

Он смотрит на нее – она идет впереди, вскинув голову, покоряясь неизбежному.

– Дорогая, ты же знаешь, это моя работа. Наше пропитание.

Она останавливается в потоке солнечного света, у эркерного окна. Там стоит его стол, сделанный из древесины рухнувшего пять лет назад грецкого ореха, которую сберег для него отец. Столяр из него не блестящий, он и сам это знает, но старшина в мастерской помог ему с пазами. Никаких львиных лап, никаких будто искривленных рахитом ножек, он только – памятуя о задуманных им обоях с жимолостью – вырезал на одной из двух подстольных опор цветок и пчелу, что-то вроде подписи. Стульев пока нет, ни одного.

Она делает вдох, движутся плечи, она хочет что-то сказать, умолкает, опускает руку на блестящую столешницу. Пробует снова.

– Этот мне нравится. Он попроще. Удобнее.

Она может представить, как шьет здесь или читает, не чувствуя себя будто на сцене. На стенах бледный яблоневый цвет, листья и ветви, и в каждом узоре дважды по маленькой коричневой птичке.

– Когда обставим комнату, это приглушит обои, – говорит он. – И я думал на лето вешать здесь муслиновые занавески, а на зиму, наверное, бархатные шторы цвета листвы.

– Да, – говорит она. – Да, Альфред, я согласна.

Она подходит к нему, дотрагивается до пиджака.

– И мне понравилась твоя пчела, твоя пчела-работница. А полог для кровати уже привезли?

Они поднимаются по голым ступеням, ее юбки задевают колосья балясин. На столбцах перил резные желуди.

* * *

Возвращаться в клуб все равно что первый раз выйти из дома после болезни. Обручальное кольцо то и дело бросается в глаза, как ленточки, которые мама повязывала ей на руку. Она знает, что женщинам захочется послушать о ее медовом месяце. Она сворачивает во двор и не подносит к лицу платок, хотя в такую жару здесь пахнет еще хуже обычного. А

люди живут здесь, дышат этим воздухом, пьют эту воду. Она вспоминает валлийские колокольчики.

– Лиззи!

Это Мэри, дожидается ее на крыльце вместе с другими женщинами. Черная юбка запылилась, лицо под соломенной шляпкой взмокшее, красное. Они обнимаются, щеки у Мэри прохладнее, чем у нее.

– Мама отпустила тебя одну?

Мэри берет ее за руку.

– Она меня привела. Она пошла в школу, а потом пойдет в больницу, к миссис Хейтер. Сказала, что до трех часов не вернется. Ох, Лиззи, как я по тебе скучаю. С мамой так трудно. Можно я буду жить с вами?

Элизабет гладит растрепавшуюся косичку Мэри.

– Нет, дружок. И ты сама знаешь почему. Но, если мама разрешит, можешь прийти к чаю. Альфред любит, когда у нас к чаю пироги и сэндвичи. А потом он проводит тебя домой.

Потому что у Элизабет и Альфреда полно работы. Потому что Мэри еще учится. Потому что папа будет слишком по ней скучать. Но в основном потому что мама этого не допустит, потому что мама с Мэри еще не закончила.

Элизабет отпирает дверь.

– Входите же, – говорит она. – Миссис Браун, миссис Хэмпсон. Миссис Дженкин, как там малыш? А вы, миссис Мерфи, оправились ли от болезни? Простите, но вы очень

похудели.

Мэри растапливает печь, наливает в чайники воду из бутылок, которые по распоряжению Элизабет доставляют сюда три раза в неделю. Она прекрасно знает, что попадает в реку.

– Садитесь, прошу вас. Миссис Мерфи, вот стул пониже.

Миссис Мерфи, которая накануне свадьбы Элизабет потеряла третьего ребенка, откидывается назад, прислоняет голову к деревянной спинке стула. Глаза у нее ввалились. Прежде она чинила всю свою одежду, но теперь сквозь прореху в юбке торчит голое колено. На ней мужские ботинки, один расшнурован, рыжие волосы сбились в колтун на затылке. Баюкающая младенца миссис Дженкин встречается взглядом с Элизабет, качает головой.

– Чаю, миссис Мерфи? Печенья?

Мэри выкладывает иголки, нитки, наперстки. Открывает ящики, где у них лежит раскроенная, готовая для шитья ткань – они шьют не верхнюю одежду, которую носят взрослые, с таким эти женщины не справятся, а детскую и еще нижнее белье, которое для пристойности куда важнее. Уличным женщинам зачастую нечего надеть под платье. Женщины из клуба, может, и ходят в обносках, но зато у них, по выражению Мэри, «солидные устои». Элизабет старается не думать о том, что некоторые ее солидные устои остались лежать под камнями на валлийском берегу. Она берет книгу с полочки под окном – «Проповеди для матерей». Если почитать им подольше, то на личные вопросы времени почти не

останется.

– Мэри, найди банку для печенья, – говорит Элизабет. – Что же, миссис Дженкин, вы ничего не раскрыли на прошлой неделе?

* * *

– Так что, миссис Моберли, вы напишете учредителям?

Внутри что-то сжимается, болит. Может быть, все обойдется. Перед выходом из дома она проверять не стала, запретила себе, потому что проверяла и проснувшись, и после завтрака. От проверок ничего не изменится. Но теперь – она делает еще глоток чаю, – теперь ей действительно нужно в уборную. По крайней мере, разумно будет заглянуть туда перед выходом.

– Миссис Моберли?

– Да-да, конечно. Прошу прощения.

Все собравшиеся обмениваются улыбками. Новоиспеченная жена с новоиспеченным именем. Пусть так и думают. Она ерзает. Кажется, потекло? У нее побаливает грудь. Прошла всего-то неделя. Или две. Человеческое тело ведь не железнодорожные часы. У нее и раньше бывали задержки.

Нет, снова проверять она не станет, проверит, когда ей и вправду придется выйти по нужде. Новый тротуар к осени замостили плиткой. Если она ни разу не наступит в зазор между плитками, нет, если она наступит в каждый зазор. Ес-

ли успеет досчитать до двадцати, прежде чем мимо проедет телега. Предстоят расходы. Оплатить врача, наверное, поможет папа, дома на чердаке лежит старая колыбелька Мэри, а уж до чего они с Мэри поднаторели в шитье одежды для младенцев, но ведь им придется – придется ведь? – нанять служанку-сиделку³. А еще приданое для новорожденного и какая-то мебель для служанки. И для детской. Глупо говорить, что ребенок им не по средствам. Доходы Альфреда в десять раз выше, чем у самых зажиточных семей в ее клубе, а там почти в каждой не меньше четверых детей. Но она не понимает, сейчас не понимает, откуда эти средства возьмутся.

Можно сесть на омнибус, но это стоит денег. Она пойдет пешком. Она переходит дорогу, отвечает на приветствие дворника. Мама всегда говорила, что женщины сгущают краски, говоря о родах, как солдаты, у которых байки при каждом пересказе обрастают новыми подробностями. Они не приучены себя контролировать, говорит она, ну и разумеется, им не обеспечен должный уход. Позволь мы себе при каждом удобном случае кричать и плакать, то убедили бы и себя, и окружающих в том, что наше положение невыносимо; мы так себя не ведем, если ошпарили руку, – Мэри тогда как раз ошпарила руку и разрыдалась – и мы так себя не ведем,

³ Служанка-сиделка (*monthly nurse*) – женщина, которую нанимали на короткий срок для помощи во время родов и в послеродовой период, когда зачастую роженица была надолго прикована к кровати.

если нам нездоровится. У бедных женщин нет твоего воспитания и твоей самодисциплины, а богатых женщин приучили считать себя хрупкими, болезненными существами, которые не могут встать с кресла, не подвергая себя опасности. Если ты окажешься в положении, Элизабет, живи, как и жила раньше, уделяй моциону столько же времени, сколько и обычно, питайся как можно умереннее, и тогда, я уверена, тебе, как и мне, это не причинит никаких неудобств, которых рациональный человек не смог бы вынести. Большинство женщин, привыкших трудиться на свежем воздухе, чье здоровье не подорвано ни городом с городской едой, ни роскошью и бездельем, переносят это время без особых страданий, и дети у них почти всегда рождаются здоровыми и крепкими.

У нее стерты ноги. Когда она придет домой, то, может быть, заварит чаю и посидит в саду, всего пару минут. Кажется, у нее не такой рациональный ум, как у мамы.

* * *

Он, как обычно, просыпается на рассвете. В их спальне по-прежнему нет штор, он подготовил эскизы – как полог, только чуть посветлее, – но признает, что пройдет время, пройдут месяцы, прежде чем ему удастся их заказать. Мама предлагает их старые шторы, говорит Элизабет, но он не доверяет временным решениям, он слишком часто видел, как

клиенты оставляли картины повисеть пока что, пока они не дойдут до багетчика, и три года спустя эти картины висели на тех же местах и в тех же уродливых рамах. Если он разрешит Элизабет повесить этот ситчик, то будет смотреть на него каждое утро всю оставшуюся жизнь.

Листья на буках начинают желтеть, вертеться в такт шелесту ветра. Пусть кто-нибудь потом сгребет их с лужайки, не то осенью они залепят ее всю, точно мокрая бумага. По его мнению, буки хорошо соседствуют с другими буками, а не с тщательно подстриженной травой и розовыми кустами. В их саду будет идти вечная битва за то, чтобы насадить человеческие представления о порядке в пространстве, которое, если его оставить в покое, скорее всего, снова станет непролазной чащей, лесом, что рос здесь когда-то. Он был бы не прочь жить в лесу. Элизабет уже заговаривала о фруктах и овощах. Нужно будет найти кого-то, кто почистит им лужайку, подровняет изгородь. Нужно будет оплачивать эти услуги. Ему пора вставать, поработать над эскизами для миссис Чемберлен. Он осторожно откидывает одеяло, чтобы не разбудить ее, но она спит как убитая. Даже дыхание не меняется. Ему не хочется будить ее, но когда он касается ее руки, в ответ ни звука, ни движения. Может, конечно, и забавно, что сейчас, в это лето их медового месяца, у них нет мебели, но теперь он начинает понимать, что зимой им будет уже не так весело, что контраст между публичным и частным пространством в доме может стать своего рода высказыванием

на тему сравнительной важности его работы и их брака. Она этого не говорила – пока. В конце концов, она сама много времени проводит вне дома, трудясь в трущобах. Она лучше него знает, какие богатые они на самом деле бедняки. Она не из тех женщин, что падают духом из-за каких-то штор. Ведь правда? Она шьет. Что-то белое, размером не больше салфетки, но заметно сложнее, стереометрия на тонком ситце. Она часто разговаривает, когда шьет, наверное, это занятие требует меньше вдумчивости, меньше сосредоточенности, чем живопись. Скорее как столярничество. Может, и он когда-нибудь научится. Неплохо было бы работать по ткани самому. Он снова взглядывает на «Манчестер таймс», которую держит в руках. Смеркается. Хотя она и сидит под окном, ей, наверное, все труднее различать белые стежки на белом материале. Она разглядывает шитье, легонько его дергает, хмурится.

– О чем ты думаешь, – спрашивает он, – когда шьешь?

Она делает еще стежок, тянет нитку мимо листьев в окне.

– В этот раз – о смерти и загробном мире. – Она поднимает голову, улыбается ему. – Но это мне не свойственно. Наверное, гораздо чаще я думаю о том, как бы так приготовить обед, чтобы обойтись без похода по лавкам, не лучше ли было выбрать моим женщинам другой отрывок для чтения или по-другому с ними этот отрывок обсудить и осмелюсь ли я сказать хоть что-нибудь маме насчет Мэри. Обычные блуждания праздного ума.

– Но сегодня ты думаешь о смерти?

Он складывает газету.

– Сегодня мне сказали, что одна из женщин потеряла сына. Ему было десять. Несчастный случай на фабрике. Не смогли унять кровотечение.

В окне подрагивают листья. Птица пересекает квадратик бумажного неба.

– Ох, Элизабет. Ты пойдешь к ней?

Она откладывает шитье. Теперь, должно быть, совсем темно.

– Через пару дней. Пойду на похороны.

Голова у нее клонится вниз. Руки наконец-то перестали двигаться.

– Элизабет? Может, попозировешь мне? Для портрета.

Он не в первый раз спрашивает. Она то слишком занята, то слишком устала. Может, на следующей неделе. Разве ему больше нечего рисовать?

– Сейчас?

Он встает, протягивает руку:

– Давай хотя бы начнем. Отыщем позу. В новом кресле?

Она убирает шитье в стоящую на полу корзинку.

– Хорошо. Но я очень устала. И я не стану сидеть в кресле без дела. Или у себя за столом, или нигде.

Это уже что-то. Потом, когда она привыкнет к самой идее позирования, к его взгляду и разделяющему их холсту, он всегда сможет уговорить ее пересесть. Он поднимается вслед

за ней на второй этаж, где по углам прячется тьма.

– Но ты надень платье, – говорит он. – Пожалуйста. Свадебное платье.

– Уже поздно, Альфред. У меня был тяжелый день. Наде- ну в следующий раз.

* * *

Он зажигает для нее свечу, встает на колени, чтобы рас- править юбки.

– Ты и с натурщицами себя так ведешь? Поправляешь им одежду?

Она знает, что его натурщицы не всегда одеты. Знала с того самого дня, когда встретила его в галерее, где мама го- ворила о ничем не скованных женских формах, свободных от китового уса и стальных пластин.

– Так же, как и Вермеер, несомненно, раскладывал цветы и фрукты.

– Значит, они для тебя – цветы и фрукты? И Шарлотта?

Шарлотта родила на прошлой неделе и позировала до са- мого конца.

– Когда они позируют мне, я вижу только линии фигур и света, цвета и формы. Ты же знаешь.

Да. Он не ищет красивых лиц и изящных рук, ему нужен яркий контраст, «интересный угол». Он не смотрит на них так, как на нее. Он встает, делает шаг назад.

– Вот так и сиди. Сиди и не двигайся.

Это напомнило ей классную комнату. Мы так ерзаем, Элизабет, когда отвлекаемся на свое низменное тело. Ты думаешь о своих волосах, о заусенце на пальце, о застёжках лифа, а когда наш разум занят подобными вещами, он закрыт для света и благодати. Тебе нужно приучиться думать о вещах более возвышенных. Мама сшила парусиновые варежки и надевала их Мэри, чтобы отучить ее накручивать пряди волос на указательный палец.

Она держит голову неподвижно.

– Ты не против, если я буду писать? Какой смысл мне сидеть за столом, если нельзя работать.

Он уже рисует.

– Посиди тихонько хотя бы один вечер. Потом будешь писать.

Ей нужно написать учредителям, всем двадцати двум, попросить еще денег, потому что женщины просили ее купить для клуба буквари и письменные принадлежности. Ей нужно переписать протокол последнего собрания. Ей нужно, вспоминает она, закончить подсчет домашних расходов, потому что Альфред в пятницу захочет на них взглянуть. Он хмурится, похоже, из-за ее талии. Что ж, неудивительно. Она борется с зевотой. Ей в жизни так не хотелось спать. Если вдруг во второй половине дня она оказывается дома, ей приходится гулять по саду, чтобы не уснуть, писать и шить стоя.

Он перестал рисовать. Он ждал, что ей будет не по себе,

думал изобразить ее замешательство. Он знает, что, позируя ему, она признает свое поражение, – она ведь не его натурщица, которая делает свою работу, не заказчица двух нарисованных им портретов, которой хочется увидеть себя его глазами, она позирует ему, потому что он ее муж и он этого потребовал.

Ему хочется написать ее поражение. Но тут что-то еще, в линиях ее подбородка, в том, как она глядит на страницы, на которых он велел ей ничего не писать, не только покорность, но и тревога. Печальный секрет.

– Элизабет, ты хорошо себя чувствуешь?

Она поворачивается к нему, глядит прямо в глаза.

– Хорошо, спасибо. Но мне бы хотелось поскорее лечь спать. Когда ты закончишь.

На то, чтобы закончить, уйдет несколько недель, думает он. И тогда он уже будет знать о том, чего она ему не говорит.

Глава 2

«Спящая Дженни»

Альфред Моберли, 1857

Холст, масло, 58 × 64

Подписана, датирована '57

Провенанс: семья Моберли, передана в дар Фалмутскому политехническому институту Алетейей Моберли Кавендиш в 1898 г.

Одна туфля соскользнула и лежит на ковре, черное пятно на фоне размытой геометрии синего и зеленого. Другая свисает с ноги, вот-вот свалится, половинка ее тени – под креслом. Справа сквозь ситцевые занавески пробивается солнечный свет, позади нее на стене расплывчатое пятно цветка. Тело Дженни – темно-синяя дуга, потому что она свернулась в кресле, перекинув ноги через подлокотник, пристроив голову на другом. Темные волосы убраны назад, но отдельные пряди сползают по бледному лицу и шее, отчего создается впечатление, что у картины есть черно-белый центр, постепенно растворяющийся в цветном круговороте обоев и персидского ковра по краям холста. Загорелая рука свисает с кресла, ладонь перевязана белой тряпичей. Она спит – глаза закрыты, да и кто намеренно уляжется в такую позу, но лежать ей явно неудобно, словно ее швырнули

в это кресло или будто она пытается выспаться в железнодорожном вагоне.

Считается, что моделью послужила домохозяйка Моберли, других изображений которой не сохранилось. Нет никаких записей о том, что подтолкнуло его к созданию этой картины, да и личность модели установлена лишь гипотетически; насколько нам известно, другой Дженни в окружении Моберли в то время не было.

*** * ***

Она уже долгое время не находит себе места, медленно расхаживает по комнате под привычный скрип половиц. Вот уже несколько недель она по ночам вставала с кровати, спускалась вниз – поесть, думает он – и читала, сидя в кресле, когда лежать было совсем неудобно. Она бродит по его снам, будто призрак, словно бы ей, не знающей отдыха, невыносим его покой. Будь у них еще одна кровать, он спал бы там. Он переворачивается на другой бок, прикрывает уши одеялом. Она наступает на расштанную половицу у окна, и вместе с ее выдохом до него доносится легкое постанывание. Он садится.

– Элизабет?

Она согнулась, держась за подоконник, грузная фигура вырисовывается на фоне ночного неба. Штор по-прежнему нет.

– Кажется, тебе пора идти за мамой. Прямо сейчас.

Он не мешкает. Но и не бежит. Первый ребенок – это долго, сказала миссис Сандерсон, даже если Элизабет и покажется, что действовать нужно срочно, пусть они запомнят – нет, не нужно, во время первых родов женщины ошибочно полагают, будто надо поторапливаться. Естественные роды, сказала она, отмахиваясь от кувшинчика со сливками, которые он предложил ей за чаем, проходят безо всякой спешки и мелодрамы. Осложнения начинаются вместе с беспокойством. С Элизабет ничего не случится, сказала его теща, если она побудет дома одна, пока ты сходишь за помощью, и уж конечно, женщинам не стоит держать дома повитуху, как это принято у богатых дам. Он вспоминает, как исказилось лицо жены, когда она, закрыв глаза, привалилась к перилам, и звук его шагов по заиндеветавшей мостовой переходит в дробь. Но все равно этот миг, эта дорога – одна из редких в его жизни апорий, пауза перед тем, как все переменится. Ночной воздух обжигает ему нос и грудь. Брусчатка оперена ажурным инеем, который напоминает ему о павлиньих гардинах Стрита. В вышине под звездами плывет облако, и город вокруг молчит, закрыв окна будто глаза, деревья, изгороди – все неподвижно.

Черное сажистое небо становится блекло-серым. Пусть, как обычно, идет на работу, говорит миссис Сандерсон. Еще даже доктора звать не пора, Элизабет, как и опасалась ее мать, забила тревогу гораздо раньше, чем следовало. Работа-

ющие женщины в первые часы родов продолжают заниматься своими делами, миссис Сандерсон и сама поступила точно так же. Она останется в доме и пошлет за ним, когда действительно придет время. Нет, ему не стоит подниматься к Элизабет перед уходом на работу. Элизабет позволила себе распусться, не нужно делать ей поблажек – так будет лучше и для нее, и для ребенка. Сверху доносятся шаги, стон.

– Прошу прощения, – говорит она. – Я попробую ее образумить. Я думала, она проявит больше выдержки. Идите на работу, Альфред. Помочь вы тут ничем не сумеете, а деньги вам сейчас пригодятся как никогда.

И все равно он мнется в коридоре, ноги готовы идти, но тело не двигается с места. Почему нельзя делать поблажек женщине, которая испытывает боль? Ведь, наверное, даже в Книге Бытия рожающим женщинам дозволяется кричать, когда они испытывают страдания, оправдать которые можно только грехопадением. Возможно, надо остаться. И делать что? А у него встреча в конторе с клиентом, с богатым клиентом, который зайдет, чтобы обсудить интерьер своего нового дома и бальной залы в том числе. Миссис Сандерсон права, им нужны деньги. Ребенку будут нужны деньги. И он ничего не знает о родах. Сама Элизабет, конечно, сказала бы, что женщины лучше разбираются в таких вещах. Он медленно открывает дверь, притворяет ее за собой. Встало солнце. На траве сверкает роса, и возле клумбы, которую Элизабет вскопала у ворот, торчат яркие подснежники. Хороший день,

чтобы родиться, думает он.

* * *

Ребенок плачет, его ярость расплзается по дому будто дым, сворачивается кольцами под потолком. Она потеряла промокашку. Наверное, Альфред взял. Она размахивает письмом вверх-вниз, словно подает кому-то сигнал. Но тут никого нет. Дома холодно; увидев последний счет за уголь, она теперь разжигает огонь только вечером, когда Альфред возвращается домой. Она надписывает конверт. Три готовы, осталось восемнадцать. Ребенок плачет. Она запечатывает письмо, начинает следующее. Грудь покалывает, молоко течет. Низ сочится кровью. Ребенок прохудил ее, продырявил. Осквернил. *Дорогая леди Хиткот*, пишет она, *я пишу Вам от имени всех женщин Манчестерского Общества благоденствия, чтобы выразить нашу глубочайшую признательность за Ваш вклад.* Когда допишет это письмо и следующее, то посмотрит, что там у нее на обед, и покормит ребенка. Ребенок плачет. Все никак не поймет, что криком нам желаемого никогда не добиться.

* * *

— А вам не кажется, что серый слишком темный, мистер

Моберли?

– Будет очень впечатляюще. Золото в гардинах будет сиять на всю комнату, лилии буквально запыхают. Ваши друзья потеряют дар речи. Но мебель должна быть очень незамысловатой. Для таких эффектов важна простота.

Когда она поворачивается к нему, жар от камина разносит ее аромат. Потрескивают дрова. Часы на каминной полке вызывают мелодию.

– Останетесь к чаю, мистер Моберли? Муж, наверное, захочет к нам присоединиться.

Она идет к звонку, шурша узорчатыми юбками, за ней тянется зыбкий шелковый след. Элизабет не носит дамасского шелка, не шелестит платьем, не притязает на пространство вокруг себя. Он никогда не видел ног миссис Дэлби. Весьма сомнительно, чтобы Джон Дэлби сознался в том, что у него есть время чаевничать с декоратором; состояние, которое он сколотил совсем недавно на железнодорожных ценных бумагах, отчего-то требует его постоянного внимания.

– С превеликим удовольствием, миссис Дэлби.

Горничная в белом оборчатом чепце вносит поднос с угнездившимся на кружевной салфетке пухатым серебряным чайником и двумя чашками с торчащими из-под блюдец кружевами. Служанка помоложе тащит переполненную фарфоровую конфетницу и что-то под серебряным колпаком. Он втискивает свои эскизы между рядком растений в горшках и выводком дагерротипов в серебряных рамках,

стоящих на задрапированном рояле. Ему придется многому научить миссис Дэлби. Она разливает чай, держа чайник обеими руками, а затем снимает с блюда серебряный колпак. Ему вдруг хочется ударить по нему ложкой, словно это ка-мертон.

— Для вас я велела приготовить тост с анчоусами. Джентльмены часто предпочитают его пирожным.

Он усаживается с ней рядом, берет чашку — чашку из такого тонкого фарфора, что ее можно раздавить двумя пальцами.

— Но я, миссис Дэлби, испытываю слабость к сладкому.

Она смеется. Огонь отбрасывает дрожащий свет на ее шелка и завитые волосы. После чая она сыграет для него на рояле, а на Пасху ее муж выпишет ему солидный чек, которого хватит, чтобы расплатиться со всеми зимними долгами и заказать ковер в их с Лиззи спальню.

* * *

До нее доносится хруст гравия под ногами Альфреда, и она торопливо подхватывает ребенка. Когда он вставляет ключ в дверь, она уже сидит в кресле-качалке. Она вытаскивает грудь, но ребенку сейчас важнее кричать, чем есть. Этот растущий рот, львиная пасть, яма, преследует ее во сне, пожирает ее, а, проснувшись, она еще и обязана подносить ему грудь. Десны ребенка у ее соска будто лезвия. Альфред

поднимается по лестнице. Лицо у него румяное, он выглядит сытым, гладким. Ребенок тычет ей в грудь, рука холодная – может, потому и плачет. Он целует ее в щеку, поглаживает пальцем лицо ребенка. Ребенок поворачивается к его руке, тянется к ней ртом с таким отчаянием, будто рядом и нет никакой груди. От мужа пахнет внешним миром, дымом, небом и мостовыми.

– Она так весь день и проплакала? – спрашивает он. – Бедняжка Алли.

Ребенка зовут Алетейя, пришлось пойти на компромисс, потому что он носился с идеей о греческом имени, а она настаивала на том, что имя должно служить ребенку четким моральным ориентиром. Пенелопа, скажите на милость. Кому только в голову придет назвать дочь в честь богатой язычницы, о которой и помнят лишь потому, что она вечно распускала сотканное ею за день? Марта, говорит она, мама предлагает – Марта. Но библейская Марфа, сказал он, была святошей-поденщицей. Она была труженицей, сказала она, труженицей, которой воздалось за усердие и скромность. Алетейя, говорящая истину. Истина сделает тебя свободной.

Он проводит пальцем по ее груди и отдергивает руку, словно прикоснувшись к змее.

– И конечно, бедняжка Лиззи, – слишком поздно добавляет он.

– Днем она всегда плачет, – говорит она. – И почти всю

ночь. Возьмешь ее?

– Минутку.

На нем щегольской рабочий костюм – костюм, который он носит, чтобы казаться преуспевающим. Ребенок любит срыгивать, выплевывать, тратить попусту молоко, которое она с таким трудом и болью производит. У ребенка на голове короста, и она отковыривает ее, бросает меж половиц, где ее не заметит Альфред, и ей не придется потом убирать. Вместе с коростой она вырывает немного тонкого пуха. Из одной ранки проступает кровь. Она размазывает ее пальцем, задевает щеку ребенка растрескавшимся соском, который снова закровоточит, когда ребенок начнет сосать; кровь в рвоту ребенка, заверил ее доктор, попала из ее груди, а не из его желудка. Это известная беда, и ее кровь никак не вредит ребенку. Ребенок плачет и не хочет есть. Она прячет грудь, приходит Альфред и забирает ребенка.

– Бедная детка. – Он похлопывает ребенка по спине, и тот пытается присосаться к его щеке. – Бедненькая Алли-баба. Лиззи, а ей не холодно? Она такая холодная.

Элизабет встает.

– Она тепло укутана, – говорит она. – Жара в доме вредна для здоровья. Но теперь ты пришел, и я разожгу камин внизу.

На лестнице, на пару мгновений, пока Альфред не придет к ней в столовую, она свободна от ребенка.

Ему нравится его контора, хоть сам бы он спроектировал ее совсем по-другому. В каменных блоках и затейливых фронтонах, ананасах и завитушках резных акантовых листьев иногда, мельком, в лучах солнца ему видится Кембридж. За тяжелой дверью, ключ от которой он иногда бессознательно поглаживает, возвращаясь домой, к Элизабет, темно-красный ковер лежит на широких половицах, в мраморных каминах пылает огонь. У всех троих декораторов кабинеты в глубине здания, на самом верху, где сквозь окна, которые выше Альфреда, льется северный свет. Клиентов не пускают дальше первого этажа, откуда те пытаются разглядеть виднеющуюся в лестничном пролете многоярусную серебряную вазу работы самого Джеймса Стрита, в которой всегда стоит пышный букет оранжерейных цветов. Процесс творения, говорит Стрит, должен быть скрыт за завесой тайны. Это ведь все равно что начинять колбасу, но покупателям нравится думать, что в деталях кроется что-то тайное, переворотное.

И может, так оно и есть. Он уже несколько дней думает о рябиновых деревьях, о рисунке блестящих листьев и темных плодов, о соразмерности промежутков и углов между листьями, о гроздьях ягод. Он даже не знает, где бы еще в природе встречался такой цвет, такой насыщенный оранже-

во-красный. Женское платье такого цвета назвали бы «огненным» – у миссис Дэлби есть вечернее платье почти такого же оттенка, – но даже в бесконечном многоцветье пламени нет той глубины, какая есть у спелых ягод рябины. На севере считают, будто рябина отпугивает духов. Или, может, призывает их, он точно не помнит, но в любом случае связь с народными поверьями ему нравится. Фон ему, наверное, потребуется палевый, но вначале он хочет опробовать голубой, ту самую бледную голубизну робкого весеннего неба, цвет, который в других условиях он назвал бы «цветом яиц дрозда». (Когда он в последний раз видел яйцо дрозда? Он не помнит, видел ли он его вообще, как знать, может, цвет, о котором он думает, к дроздам не имеет никакого отношения.) И крепкая летняя зелень листвы – он вспоминает валлийские изгороди – смелый подрамник для его пламенеющих ягод. Он отпирает дверь и взбегает по лестнице, в уме уже смешивая краски для карандашного наброска, что лежит у него в кармане.

* * *

Мама сказала, что ей не стоит ходить в клуб, пока она кормит ребенка грудью. Пусть, говорит мама, клубом займется Мэри. Мэри полезно быть за что-нибудь в ответе. А Элизабет теперь обязана заботиться о ребенке. Мама не одобряет нянек-кормилиц, которые опаивают детей, чтобы те не пла-

кали, лентяи вставать к ним по ночам и потому спят с ними в одной постели, а значит, могут заспать, а потом еще и учат грубостям и суевериям. Женщина, которая не может заботиться о собственном ребенке, которая не ставит образование ребенка и его моральное развитие превыше всего в жизни, недостойна быть матерью. Неудивительно, что столько девушек сбиваются с истинного пути, ведь за их воспитание, да что там, за спасение их душ отвечают нищие, необразованные слуги, в то время как матери этих девушек пребывают в праздности и уделяют больше внимания своим нарядам и болонкам, чем вверенным им бессмертным душам. Элизабет взглядывает на плачущего в колыбельке ребенка. Разумеется, у него есть душа, но эта мысль кажется ей невероятной. Пока что ребенок только и делает, что высасывает из нее молоко напополам с кровью острыми, как лезвия, деснами или – иногда на протяжении совершенно непредсказуемых промежутков времени, когда она боится браться за дела, чтобы не бросать все, если ребенок проснется, – спит. Ребенок кажется ей не человеком – животным, и даже не домашним зверьком, что мурлычет или виляет хвостом от радости, а каким-то насекомым. Ядовитым насекомым. Рептилией, разве что рептилии, кажется, обычно не издают никаких звуков. Она понимает, почему няньки опаивают младенцев. Ребенок по-прежнему плачет. Внизу, на кухне, Тэсс – «поденщица», которую они наняли по настоянию Альфреда, – громыхает посудой. Она спустится и попросит чашку чаю, а если ребен-

нок все еще будет плакать, когда она вернется, как раз пройдет четыре часа, и тогда она его покормит. Опять.

* * *

Насчет голубого он был прав. Он вносит диссонанс в гармонию зеленого и оранжевого. Он нарисовал листья в движении, будто бы ветер пронесся по стенам, а теперь он работает над падающим на ягоды светом. Из соседней комнаты доносятся голоса, Стрит разговаривает с РДС, через пару минут придется спуститься и обсудить с Филипом Сидфордом его столовую, куда рябиновый узор, кажется, превосходно впишется. Можно попробовать выкрасить стены над картинными рейками в насыщенный терракотовый, на несколько тонов темнее ягод. Он подбавляет жженой умбры, подбавляет желтого. В дверь стучат.

– Да?

Тон выдает его истинные чувства. *Нет, проваливайте.*

Она просовывает голову в дверь. Они совсем не похожи, эти сестры, ни волосами, ни сложением, но в ее лице ему внезапно видится Элизабет, какой она была десять лет тому назад.

– Мэри?

Она входит в комнату. На ней темное куцее платьишко, его теща ратует за такой фасон, волосы собраны в косичку.

– Я тебе очень помешала? Прости, я просто не знала, как

еще с тобой увидаться. Мама думает, я помогаю в школе.

В школе?

– Ну, сам знаешь, Альфред, в школе Святой Катерины. Она тут, за углом.

Он не знает. Туда, где улицы грязные и немощенные, где карманники прячутся в темных подворотнях, он не заглядывает.

– Но ты туда не пошла, – напоминает он ей.

– Сейчас пойду. Я волнуюсь за Элизабет. И за Алли. По-моему, Элизабет не слишком-то ее любит.

– Мэри!

Она переминается с ноги на ногу, опускает голову.

– Прости. Я не так выразилась. Я хотела сказать, что Лиззи, похоже, не в себе. По-моему, ей очень плохо, и я волнуюсь, что ребенку тоже очень плохо. Алли все время плачет.

Он промывает кисть. Еще минута – и пора будет идти вниз, и Мэри нужно увести отсюда, пока не пришли клиенты.

– Она не разжигает камина, пока меня нет, – говорит он. – Я сказал ей, что у нас есть деньги, что ребенку не нужно мерзнуть.

Мэри тербит юбку.

– Мама не одобряет, когда люди делают себе поблажки. И не только себе, кстати.

Он взглядывает на часы, она перехватывает его взгляд.

– Я уже ухожу. Прости.

Она исчезает, будто дух, от которого его спасла рябина.

Или не спасла. Он собирает рисунки, дожидается, пока снизу хлопнет дверь, и затем спускается.

* * *

Мистер Сидфорд попросил его съездить в его новый дом в Боудене, захватить образцы и показать их миссис Сидфорд. Мистер Сидфорд с энтузиазмом отнесся к рябиновым эскизам – Стрит попросил Альфреда принести их, пробормотав что-то о гениальности, о художественном даре. Его жена, сказал мистер Сидфорд, придет в восторг, когда увидит, что может заказать нечто настолько новое, чего еще нет в каталогах. Альфред шагает быстро, его подгоняет успех, предвкушение новых клиентов, новых заказов и, конечно же, – денег. Правильно он сделал, что купил дом, который ему было не по карману обставить, правильно, что поверил в свою фирму, в свою работу, в себя. После рябины он займется кувшинками – может быть, основной узор стоит чередовать с высывающейся из воды рыбой. Стрит недавно купил японскую гравюру, на которой изображен пруд с золотыми рыбками, ее автор сумел передать расходящиеся по воде круги. Но ему хочется обои с кувшинками, где тесно от листьев и ярко от лепестков. Никакой водянистости.

Прошел дождь. На дороге еще не просохли лужи, и его брюки заляпаны дорожной грязью, но он ждал, не уходил с работы, пока не выглянуло солнце, и вот оно. Деревья вдоль

дороги, еще не переросшие людей, покрываются сочной си-не-зеленой листвой, конские каштаны воздевают к небу свечи бело-розовых цветов, похожих на парящие в воздухе гиацинты. Говорят, маленьким детям нравится разглядывать деревья, может, как-нибудь он возьмет сюда Алетейю. Или прогуляется с ней по парку, по Королевским садам, которые всего-то в пяти минутах ходьбы от дома. Потом она будет играть там с обручем и скакалкой, будет прятаться в кустах и кормить птиц. Ему одновременно видится и коляска, и трех-или четырехлетняя Алли. Теперь у него хватит денег и на большую семью.

* * *

Она впервые рада тому, что Тэсс на кухне. Она проснулась с мыслями о ножах, на завтрак ела только кашу, потому что опасалась даже ножа для масла. И она до сих пор думает о ножах. Ребенок до сих пор плачет. Постыдись, Элизабет, говорит мама, вспомни о женщинах из клуба, которые заботятся о четверых, о восьмерых детях в жилище меньше этой гостиной, которые разводят огонь только для того, чтобы приготовить еду, да и то когда у них есть деньги на уголь, которые работают целыми днями, а по ночам встают к младенцам. Ты меня разочаровываешь, говорит мама. Моя дочь оказалась лентяйкой и трусихой! Мама права, мама всегда права. Она слабая. Она лентяйка. Ребенок взял над ней верх.

Она боится выйти из дому, чтобы не купить ненароком лауданум, но если останется, то здесь есть ножи. А еще очаг и лестница. И окна – высоко, под самым коньком крыши. Ребенок плачет. Она не может взять его на руки – из-за окон, из-за лестницы, – и она не может от него отойти – из-за ножей, из-за лауданума. Поэтому она стоит тут, в дверях, а ребенок плачет. Ребенок наводит ее на недобрые мысли. Своими бесконечными криками он может обречь ее на вечные муки. До того, как он родился, она была исполнена света.

– Мадам?

Она не поднимает головы. Не стоит Тэсс видеть ее глаза.

– Мадам? Вам нехорошо?

Она расправляет плечи. Представь, что между макушкой и потолком натянута струна, всегда говорила мама.

– Немного устала, Тэсс. Спасибо. Я, наверное, повезу ребенка на прогулку.

Она входит в комнату, вынимает ребенка из кровати. Он мокрый, от него пахнет. Она держит ребенка в вытянутых руках. Ребенок кричит.

– Тэсс, не поменяешь ли ты ей пеленки, пожалуйста? Все-го разок.

Тэсс глядит на нее во все глаза.

– Конечно, мадам.

Ну-ка, иди сюда, – говорит Тэсс ребенку. Она прижимает его к себе так, будто он вовсе и не промок насквозь от мочи, не покрыт где-то там, под слоем пеленок, засохшими экскре-

ментами. — Иди ко мне, маленькая. Пойдем-ка, девчоночка, сейчас мы с тобой будем чистенькие и хорошенькие, да?

Тэсс уходит, и становится тихо. Она делает вдох, делает выдох — по-прежнему тихо. Она слышит, как шуршат на ветру листья вязов, как катятся по дороге колеса. Сегодня, думает она, четверг. На улице солнечно. Она отвезет ребенка в клуб. Сегодня мамин черед работать в амбулатории. Женщины захотят взглянуть на ребенка. Кажется, все они любят детей. Она и сама думала, что любит детей.

Альфред купил коляску, очень дорогую. Он говорит, что теперь у них больше денег, что теперь они могут позволить себе хорошо жить и уж точно могут позволить себе вывозить ребенка на прогулки. А еще им по карману платить няньке, предложил он, если она пожелает. Она не желает. Может, она лентяйка и трусиха, но она — пока что — не настолько распустилась, чтобы отдать ребенка чужому человеку, чтобы отречься от вверенных ей обязанностей. Да, она согласна, ей сейчас тяжело приходится, но он что же, думает, что женился на женщине, которой не под силу сносить тяготы? Он что же, считает ее слабой, или ему кажется, что она, соблазнившись деньгами, примется глупо подражать богатым дамам? Она надеется, что у нее все-таки хватит сил поставить свою бессмертную душу превыше сиюминутного отдыха. Больше он об этом не заговорит, думает она. Она и против коляски возражала, истраченных на нее денег женщинам из клуба хватило бы, чтобы несколько недель кормить семью. Если

Альфреду хочется помочь детям, заметила она, пусть лучше потратится на уголь и суп для многих, чем на ненужную роскошь для одного. Но этот один ребенок – мой, сказал он, и потому мне хочется на нее тратиться. Ребенок, разумеется, от коляски в восторге. Там он воздерживается от плача, не то что у нее на руках, у ее груди или в колыбели. Тэсс возвращается, ребенок молчит, только икает.

– Уложи ребенка в коляску, пожалуйста, – говорит она и смотрит, как Тэсс спускается с ребенком по лестнице, укладывает его в гнездышко из одеял, будто хрустальную вазу, будто диадему на шелковую подушечку. – Спасибо, Тэсс, дальше я сама.

Она закрывает за собой дверь, стаскивает коляску вниз по ступенькам – колеса тотчас же увязают в гравии, и она изо всех сил напрягает руки и колени, чтобы проложить дорожку к воротам. Ребенок снова принимается плакать, но на улице, даже возле дома, плач кажется тише. Может быть, она пойдет в восточную часть города, в фабричный район, шум которого заглушит даже этого младенца. Мама всегда велит ей побольше двигаться.

* * *

Он снова сидит за чайным столиком миссис Дэлби. Она пригласила его взглянуть на столовую, которая наконец готова.

– Даже не верится, что она моя, – говорит она. – Знаете, мистер Моберли, – она кладет руку – белее, меньше, чем у Элизабет, – на его рукав, – знаете, я захожу сюда каждое утро, совсем одна, и я стою тут и все смотрю, смотрю и думаю о том, что это все – мое и я могу приходить сюда и любоваться вашей прекрасной работой, когда мне только будет угодно. Мне кажется, она даже слишком прекрасна, чтобы ей пользоваться, что приводить сюда броско одетых людей, наполнять ее ароматами, запахами еды и шумом бесед – это святотатство. Разумеется, все от нее без ума – я рассказала о вас половине Чешира, – но вряд ли они смогут смотреть на нее так, как вы научили меня. О, мистер Моберли, я и передать не могу, до чего она мне нравится!

Лесть, думает он, опиум для художника. Глупые слова глупой женщины. Но он вложил много труда в эту комнату, думал о ней, шагая по улицам, бодрствуя во время беспокойных ночей Элизабет, просыпался, отчетливо видя все эти цвета мысленным взором. И он оказался прав. Золотые лилии сияют промеж изогнутых листьев, масляно-желтый цвет стен под потолком перекликается с исходящим от цветов свечением, и сероватая зелень, темнее, чем лось миссис Дэлби, обрамляет ее и ее новые простые стулья со столом. Высокие окна выходят на запад, и хорошо было бы увидеть комнату такой, какой она ему представлялась, – в сумерках, на заходе солнца. Она показывает свое невежество, восхищаясь ей по утрам, если она и впрямь так делает. Тем не ме-

нее она говорит, что теперь стыдится остального дома, что теперь ей хочется, чтобы каждая комната была под стать ее новой великолепной столовой, и что мистер Дэлби сказал, чтобы она наказала ему выслать эскизы для гостиной (это там, думает он, где рояль и дагерротипы). И вот он снова здесь, снова пьет чай, на этот раз с глазированными кексами вместо тоста с анчоусами.

– Вот видите, – говорит она. – Я все запомнила и специально послала Джейн к Дэниэлсу, правда ведь, Джейн?

Джейн, в чепце, в переднике, как и в прошлый раз, кивает:

– Да, мадам. Рано утром, пока не раскупили.

– Так что вам придется остаться и съесть их вместе со мной.

Огня в этот раз нет, один процеженный через кружевные занавески солнечный свет, но сквозь его пелену открывается недурной вид в сад. С его места видны побеги растущей под окном жимолости, которые подрагивают возле оборок машинного кружева – кстати, не слишком-то белого. От кружева он избавится, а заодно и от салфеточек, от ткани, которой отчего-то задрапирован рояль, от почти всех беспорядочно расставленных столиков, которые как будто нужны лишь для того, чтобы на них могли возвышаться пыльные растения в серебряных горшках с рельефными розами и ангелочками. Позволят ли ему переделать камин?

Она замечает его взгляд.

– Я почти стыжусь того, что вы рассматриваете мой дом,

ведь теперь я знаю, на какие преобразования вы способны! Но вы должны дать мне точные указания, что нужно купить и что нужно выбросить, вот увидите, я буду очень, очень покорной. С молоком или с лимоном?

Боже правый, думает он. На ней платье с глубоким вырезом, на полдюйма глубже, чем подобает времени суток, и она так туго зашнурована, что, наверное, еле дышит. Такую талию можно обхватить ладонями. Если на такой женщине расшнуровать корсет, примет ли она моментально прежнюю форму, будто разжатая губка, засвистят ли ее сдувшиеся легкие, вновь наполняясь воздухом? Элизабет говорит, что женщины, которые носят корсеты, слабеют, потому что их тела полагаются на силу китового уса вместо собственных мышц, и в конце концов они даже стоять не могут без опоры. Быть может, миссис Дэлби, напротив, осядет на пол, словно платье, и будет лежать, не двигаясь. Очень, очень покорно.

Их взгляды встречаются.

– С лимоном, пожалуйста.

– И прошу вас, ешьте кексы.

Он ест. Кексы вкусные. Они с Элизабет могут себе позволить покупать пирожные у Дэниэлса, но Лиззи о таком и слышать не захочет. Любая порядочная женщина может все испечь сама, только она ничего не печет. От пирожных портится пищеварение, да и вообще она слишком занята – заботится о ребенке, пишет благотворителям. Он оглядывается, представляя себе пустую комнату, обнаженную до дерева и

штукатурки. Ужасные картины маслом в пышных золоченых рамах, наверное, фамильные портреты, но, может быть, если действовать тактично, их удастся сослать на лестницу. И затем он начнет все сначала. Для обоев с кувшинками здесь достаточно света. Может быть, у него получится убедить Дэлби разбить на газоне пруд с настоящими кувшинками. Этот чайный столик с клубневидными ножками на львиных лапах можно заменить чем-нибудь светлым, дубовым, где, может, найдется место и для крошечной шутки вроде вырезанной на ножке лягушки или стрекозы. Стрекозы. Занавески со стрекозами? Радужные переливы, ярчайший синий, мелькание крылышек, тельца – косые линии. Пол пусть останется непокрытым, и, может, стоит повесить на дальней стене гобелен с плакучими ивами и тенистым прудом, с кувшинками и стрекозами?

– Вижу, вы задумались. Мистер Моберли. Прилив вдохновения?

Он допивает чай, промахивается мимо блюдечка. Все равно что начинять колбасу, говорит Стрит.

– Возможно. Миссис Дэлби, покорно прошу меня извинить. Кажется, я начинаю кое-что для вас придумывать. Тогда я зайду на следующей неделе?

Она встает, будто ее потянули за ниточки.

– Разумеется, мистер Моберли. Поспешите! Как насчет следующего четверга, и тогда Джейн снова сходит к Дэниэлсу?

Он кланяется:

— Миссис Дэлби, вы сама доброта. Благодарю вас.

* * *

С коляской можно ходить только там, куда сама она обычно не заглядывает. Колеса узкие, их, конечно, делали для нянек, прогуливающих по лондонским паркам, и они уж точно не предназначены для утопающих в грязи рабочих районов Манчестера. Так что она не может пойти в клуб, не может заглянуть ни в школы для бедняков, ни в больницу, куда мама, впрочем, и так запретила приносить ребенка. В любом случае, говорит мама, возить такую дорогую вещь по улицам, где дети отродясь не ели ничего горячего, будет совершеннейшим дурновкусием, не говоря уже о том, какой это соблазн для нуждающихся. Оно, конечно, стыдно и грешно бояться ближнего своего, но если Элизабет и Альфред так и дальше будут выставлять напоказ свое благосостояние, то в определенных местах ей лучше не появляться. Элизабет никого не боится, тем более теперь, ведь тот, кому вздумается пырнуть ее ножом, избавит ее от бесконечных мысленных разговоров о том, не сделать ли это самой, а тот, кому захочется забрать ребенка, поможет осуществиться намерению, которое сама она претворить в жизнь не может. Пусть его не будет, повторяет она как молитву, хотя с тех пор, как родился ребенок, она почти не молилась. Господи, забери ребенка,

верни мне мою прежнюю жизнь, и я сделаю все что угодно, все, что ни потребуешь. Но чего требует от нее Господь, она знает, потому что видит, сколько ей дано. Она знает, ей дано то, о чем тысячи женщин по всей стране молятся еженощно: добрый муж, уютный дом и здоровый ребенок. Она неблагодарное дитя, она недостойна ниспосланных ей благ. Тебе бы встать коленями на камни, говорит мама, да возносить Богу хвалы и вымаливать прощение за свою неблагодарность. Мы с тобой сейчас вместе преклоним колени и будем просить Господа даровать тебе покаяние.

Но Он не дарует ей покаяния. Ребенок разлучил ее с Богом.

Она идет по улицам, ее сдержанный наряд и коляска служат ей защитой. Мужчины по-прежнему обращаются к ней с непристойными предложениями, и она отвечает так, как десять лет тому назад научила ее мама: «Да смилостивится над вами Господь». Вряд ли эта молитва будет услышана, зато она сбивает с толку и дает ей время уйти. Она идет по маршруту омнибуса, по мощеной дороге, отсчитывая лавки, будто бусины четок. Ленты, шляпы, мясо (кровь капает в подставленные эмалированные подносы). Скобяная лавка, на окнах, словно бумажные рождественские гирлянды, висят гроздья железных цепей. Зачем жителям Чорлтона столько железных цепей? Сапожник, обувные колодки выставлены в витрине, будто мясо в лавке за углом. Торговец фруктами, на пыльном ворсе незрелых слив виднеются отпечатки пальцев. Ребенок

плачет. Еще один мясник, галантерейщик, цветочник. Она идет дальше, волосы под черной соломенной шляпой намокают от пота. У коляски есть капюшон, но раз уж ребенок все время плачет не переставая, она и не думает его поднимать. Пусть у ребенка будет повод для плача. Она переходит дорогу, хотя на другой стороне улицы нет ничего интересного, и идет дальше. Тени покосились, день близится к вечеру. Иногда ей кажется, что она слышит медленную капель уходящих секунд, каждый умерший миг – как ползущая по стеклу ниточка дождя. От брусчатки исходит жар, иссиня-черные мухи ползают по лежащему на дороге навозу, копошатся на одеяле ребенка. Наверное, снова обмарался.

Она идет дальше. Уличное движение становится плотнее, громыханье колес по булыжнику взвивается в воздух, будто шум прядильных станков из-за ворот фабрики. Она, как плугом, прокладывает коляской дорогу сквозь толпу мужчин в шляпах и костюмах темного сукна, женщин в платьях с яркими узорами – некоторые покачиваются в своих кринолинах как в лодках, под парусами зонтиков. Витрины здесь больше и чище, солнце полыхает в них, как в зеркалах. Ей хочется пить, ей всегда хочется пить.

– Мисс Сандерсон?

Уличная женщина. Заношенное платье розового шелка, заскорузлая кромка подола, дырка на груди. Из-под исцарапанного лба на нее глядит подбитый глаз, на подбородке синяк, и все же...

– Дженни? Это ты?

Дженни была... Дженни – дочь одной из ее женщин. Дженни раньше ходила в школу.

– Слыхала, вы замуж вышли. – Дженни заглядывает в коляску. – Ой, на ней муха! Бедная детка.

Если б Элизабет давали по пенни всякий раз, когда кто-то говорит «бедная детка», она бы уже купила в клуб швейную машинку. Никто не говорит «бедная Элизабет», уставшая, изнывающая от жажды Элизабет, которой все опостылело.

– Дженни, тебя кто-то ударил? У тебя на лице...

Дженни смеется:

– И не только на лице, милая. Сколько ей? Как назвали? Слыхала, что вы в положении. Да и вы ведь больше не мисс Сандерсон.

– Миссис Моберли. Ей около трех месяцев. Ее зовут Алетейя. Дженни, что случилось?

– Имячко красивое. Ничего. Работу потеряла. Тяжко вам с ней пришлось?

– Значит, тебе нужна работа? Я могу помочь, ты же знаешь.

Дженни может пойти к ним. Если Альфреду можно приводить домой клиентов, то почему бы ей не привести своих?

Дженни склоняется над коляской, гладит ребенка по голове. Плач немного стихает, ребенок взглядывает на нее.

– Это уж вряд ли. Нет, теперь не можете.

Элизабет роется в сумке. Альфред хочет, чтобы она всегда

носила с собой его карточку, вдруг она с кем-то разговорится и ее собеседник захочет обратиться в его фирму, только она никогда ни с кем не разговаривает.

– Держи. Это карточка мужа, но тут мой адрес. Приходи. Если захочешь, поиграешь с ребенком.

* * *

Он слышит Алетейю первым, потому что комната, которая слишком мала, чтобы называться студией, находится рядом с комнатой, которую они зовут детской спальней, хотя ребенок почти не спит. Он занес кисть, ждет; к ней подойдет Элизабет. Внизу, где она, кажется, шьет, тихо. Он делает фон погуще. Алли берет нотой выше. Ночи снова становятся длиннее. Совсем скоро стемнеет, а при свечах ему эту часть делать не хочется. Он снова окунает кисть, держит ее над горшком с водой, куда шлепаются капли. Когда она только родилась, ее плач был похож на мяуканье кошки, и он не понимал, как это Элизабет слышит ее с другого этажа, но теперь у Алли лучше получается до них докричаться. Плач сердитый, тот же возмущенный тон, что и у миссис Дэлби, когда горничная не отозвалась на звонок. Он улыбается себе под нос, встает. Крошка Алли, принцесса Аль. Он отнесет ее Лиззи, Лиззи не надо будет подниматься по лестнице.

У Алли в комнате, которая окнами выходит на восток, гораздо темнее, и поначалу он не может ее разглядеть. Он на

ощупь подходит к колыбельке и видит, что она перевернулась, лежит, вжавшись лицом в деревянные перекладки, и, похоже, не может повторить свое достижение и перевернуться обратно.

– Бедная детка.

Он берет ее на руки, хотя Элизабет считает, что не стоит вынимать Алли из колыбельки после того, как ее уложили спать. Она утыкается мокрым лицом ему в шею, он похлопывает ее по спине, и плач умолкает.

Он стоит, переминаясь с ноги на ногу, как человек, подпирający стену на балу, и вдыхает млечный запах, исходящий от волос дочери.

– Бедная детка. Папина принцесса Алли. Ш-ш-ш. Ну-ну-ну. Папочкина радость.

Я говорю как нянька, думает он. Неудивительно, что их считают дурами.

– Ну-ну, детка. Тихо, тихо.

Он начинает тихонько напевать себе под нос – вальс, и ребенок затихает у него на руках. Не нужно беспокоить Элизабет. Он и сам справится.

Не успел он взяться за кисть, как раздается звон дверного колокольчика. На этот раз он слышит ее шаги – сначала в столовой, затем в коридоре. До него доносится ворчанье из соседней комнаты – в этот раз обходится без плача, – стук входной двери, женские голоса. Она не говорила, что ждет сегодня гостей; наверное, это кто-нибудь из этого ее Обще-

ства. Угасающего света есть еще на пару минут.

Но он все работает и работает – все-таки при свечах. Пусть и неподвижные, кувшинки не кажутся застывшими, и ему хочется передать их прерывистое движение, блеск капель и лужиц воды на их и без того блестящих листьях и еще, наверное, наметить кипящую под водой жизнь. Наконец одна свеча окончательно оплывает, другая тихонько гаснет, и когда он поднимает голову, в комнате темно и сквозь растущие за окном вяза виднеется полосатое небо. Он встает, потягивается, хрустит плечами. У Алли по-прежнему тихо. К акая-то женщина приходила к Элизабет, вспоминает он, но сейчас внизу тоже тихо. Наверное, ушла, а он и не услышал. Легла ли Лиззи спать? Он выходит из комнаты, стараясь не наступать на скрипучие половицы, перевешивается через перила. Из-под дверей столовой виднеется свет, поэтому он спускается. Элизабет сидит на своем обычном месте и читает Библию, но напротив нее, на его обычном месте, спит женщина, лицо которой скрыто волосами. На растрепанных прядях засохло какое-то темное вещество – кровь? – и, войдя в комнату, он замечает, что в крови перепачкано и ее розовое платье, подол разорван и почти до самых колен забрызган грязью.

Лица женщины почти нельзя разглядеть за волосами, да еще в тусклом свете свечей, но с ним тоже что-то не так. Элизабет переворачивает страницу.

– Э-э... Лиззи?

– Ее зовут Дженни. – Она не поднимает глаз от книги. – Она дочь одной женщины из моего клуба, и она проживет у нас пару дней. Ее избили, очень сильно, и она очень устала.

– Лиззи?

Теперь она поднимает голову:

– Что?

– Но, Лиззи, что нам с ней делать?

Она откладывает Библию.

– Тебе делать ничего не нужно. Я посижу с ней, пока она не проснется, а потом приготовлю ей ванну, найду какую-нибудь приличную одежду и, наверное, позову к ней доктора, чтобы осмотрел ее раны.

Он стоит перед ней, кувшинки все не идут у него из головы, наверху спит их маленькая дочь, он так устал. Если он предложит помочь, она, скорее всего, отправит его искать в ночи доктора, который согласится осмотреть немытую уличную девку, или попросит уступить ей свою постель. Тебе, Альфред, не помешало бы вкусить хотя бы крупицу тех страданий, что ежечасно претерпевают десятки тысяч людей, живущих в каких-нибудь двух милях отсюда.

– Тогда спокойной ночи, – говорит он.

– Спокойной ночи, Альфред.

* * *

Когда он просыпается, комнату заливают серым светом, в

детской плачет ребенок, ее рядом нет. Он откидывает одеяло – холодно; хочет того Элизабет или нет, и пусть ему придется самому опрашивать и нанимать девушку, но зимой у них будет служанка, которая будет по утрам приносить им чай и разжигать камин, прежде чем ему придется вылезти из постели. Шарлотта заходила к нему на днях, надеялась подзаработать, потому что отец ребенка ее бросил и уехал в Лондон. Он ее выпроводил, какая теперь из нее натурщица, с висящими, как пустые мешки, полосатыми от растяжек грудями и животом. Если она отошлет собственного ребенка на вскармливание в деревню, то сможет присматривать за Алли и заодно помогать Лиззи по дому. Он свешивается через перила, босой, в ночной сорочке, и кричит:

– Элизабет! Лиззи! Где тебя черти носят?

Дома тихо, Алли по-прежнему плачет. Когда он к ней подходит, она протягивает к нему руки. Он вынимает ее из колыбельки, она вся мокрая, да и голодная тоже. Бедная детка. Он заворачивает ее в одеяло, чтобы не испачкать сорочку, и укачивает ее, прижимая к плечу.

– Элизабет! Иди сюда!

Она не идет. Он кладет завывающего ребенка на собственную кровать, надевает халат и шлепанцы, несет ее вниз, в холодную пещеру коридора. Никого нет ни в гостиной, ни в столовой, ни на кухне. Из погреба на его окрик тоже никто не отзывается (впрочем, он и не думал, что она там). Алли по-прежнему плачет. Мужчина, который может смастерить

стол, конечно, сумеет поменять ребенку пеленки. Они возвращаются в детскую, он кладет Алли в колыбельку, находит стопку чистых пеленок под креслом-качалкой Элизабет, какие-то крохотные одежки в шкафу. На одежках есть завязки, и он не очень понимает, куда просовывать ручку ребенка, куда ножку, впрочем, самое главное, чтобы Алли было удобно. Верхний слой одежды с нее снимается просто. Под ним что-то, что нужно стягивать

через голову. Он тянет, кофточка застревает где-то на уровне глаз, плач перерастает в истерику. Бедная детка. Господи, да где же ее мать? Он опоздает в контору. Он побеждает кофточку, на следующей вещи – завязки сбоку, а на той, что под ней, – пуговицы. Когда он стаскивает с Алли носки и штанишки и разматывает пеленку, она не протестует, и он, успокоившись, рассматривает, как сложена пеленка, прежде чем кинуть ее на пол. Понятно – треугольник, сложенный вдвое. Мужчину, который знает, как задрапировать женщину, чтобы та походила на богиню Афину, не испугаешь сложенной в несколько раз тканью. Ему немного боязно из-за булавки, но и с этим он справляется. Алли дрыгает красными от холода ногами, набирает воздух и втягивает живот, готовясь издать очередной вопль. Слеза стекает у нее по виску, и он утирает ее рукавом, чтобы не закатилась в ухо. Бедная детка. Но вот покормить ее он никак не сможет. Он надевает на нее чистые штанишки, просовывает ладошки – мокрые морские звезды – в рукава штуки с завязками. Он растяги-

вает горлышко кофточки, чтобы было проще надевать через голову, и у него получается ее натянуть. С верхним слоем – тонкой хлопковой вещицей, от которой нет никакого тепла, – он даже не думает возиться, бросает все мокрое на пол и снова заворачивает ее в одеяло. Ему лучше, а вот ей, похоже, нет. Где, черт побери, Элизабет?!

Когда они с Алли спускаются – одетые, весьма готовые завтракать, – с улицы слышится хруст гравия, но это всего лишь Тэсс. Завтрак всегда готовит миссис Моберли, объясняет она. Миссис Моберли велит, чтобы Тэсс приходила к половине девятого, и сейчас как раз половина девятого. Завтракать он не будет, говорит он, но ему уже пора на работу. Возьмите ребенка. Миссис Моберли, кажется, вызвали помочь какой-то попавшей в беду женщине. Похоже, она задерживается, но, наверное, скоро будет дома. Если жена не вернется к обеду, пусть Тэсс, пожалуйста, пошлет за ним, вот адрес. С ребенком, видимо, тоже пока ничего не поделаешь, если до обеда Элизабет не вернется, он пойдет к миссис Сандерсон, которая знает, что делать.

* * *

Он сидит за столом у себя в кабинете. Пишет печатнику насчет обоев с кувшинками, пытаюсь объяснить, какие цвета нужно подготовить к его следующему визиту, но чернила высохли, и он смотрит в огонь, в камин, который впервые

растопили этой осенью. Нельзя позволять Элизабет и дальше так себя вести. Особенно теперь, когда он получил два новых заказа и зарабатывает столько, что холодные комнаты и отсутствие слуг уже кажутся не признаком бережливости, а какой-то рисовкой. Но, как бы то ни было, если Элизабет не согласится на кормилицу, он сам договорится с Шарлоттой, и кто-нибудь — может быть, мать — должен поговорить с Лиззи о том, что она обязана хотя бы кормить ребенка. Он не собирается отказывать себе в удобствах, которые ему по карману, и он не собирается морить собственного ребенка голодом, отказывая ему в простейшей заботе. Он разворачивает записку, которую принесли час назад, перечитывает ее.

Дорогой Альфред, беспокоиться решительно не о чем. Я всего лишь отвела Дженни к доктору Дэвенпорту, который из милосердия принимает бедных пациентов перед началом рабочего дня; в этом мире еще остались люди, готовые пожертвовать собственным сном и временем ради облегчения чужих страданий. Сегодня четверг, поэтому рано я тебя не жду.

Элизабет.

Что ж, значит, так тому и быть. Он и впрямь пойдет пить чай с миссис Дэлби.

* * *

К чаю в этот раз эклеры, и в камине снова горит огонь. Он смахивает с рояля дагерротипы, переставляет на пол горшки с цветами и раскладывает на их месте эскизы с кувшинками, и она, рассматривая эскизы, придвигается ближе к нему. Она снова надушилась туалетной водой. Оправленные в тончайшее золото бриллианты свешиваются с ее розовых мочек, теряются в блестящих волосах, и она опять так туго зашнурована, что он, наверное, мог бы обхватить пальцами ее талию.

Он и вправду может обхватить пальцами ее талию.

Она смеется, но не уворачивается от него.

– Вам этого давно хотелось?

– Быть может, – говорит он.

Она берет его руку, кладет ее себе на грудь, на обнаженную кожу над корсажем.

– Быть может, мистер Моберли, вам давно хотелось чего-нибудь еще?

– Быть может, миссис Дэлби, быть может.

* * *

Он остается ужинать, чтобы обсудить с мистером Дэлби пруд с кувшинками. Четыре перемены блюд, три перемены

вин. Стемнело еще за ужином, омнибусы уже не ходят, поэтому ему приходится взять кэб. Он старается ступать по гравиию как можно бесшумнее, надеясь, что Элизабет уже спит, что завтра он сможет рано утром ускользнуть в контору и подумать о том, что он натворил. Подумать о миссис Дэлби – Эмили, – от которой пахнет пудрой и фиалками, чья плоть так нежна, что кажется, пальцы могут пройти сквозь нее. Он осторожно открывает входную дверь, вешает пальто и шляпу на стойку перил, чтобы не скрипеть дверцей шкафа. Он крадется наверх. В их с Лиззи спальне горит свет. Он заглядывает к Алли, вслушивается, затаив дыхание, но в комнате есть еще кто-то, кроме нее, кто-то лежит, свернувшись на полу, и теперь поднимает голову.

– Сэр? Это я, сэр, Дженни. Миссис Моберли сказала, я могу тут поспать. Я пригляжу за девочкой, если она проснется посреди ночи.

Он уходит. Шлюха в комнате Алли, которая спит вместе с его маленькой дочкой? Он идет к себе в спальню, закрывает дверь. Элизабет читает Библию, сидя в постели.

– Лиззи, – говорит он, – Лиззи, чтобы завтра же утром этой женщины в нашем доме не было. Я заберу Алетейю, мы с ней переночуем внизу, и когда я завтра вернусь домой, чтобы этой уличной потаскухи тут не было. Поняла?

Она опускает книгу.

– Эта уличная потаскуха, Альфред, – пятнадцатилетняя девочка, над которой джентльмены сначала надругались, а

затем избили. Точнее – двое джентльменов, одновременно, во вторник. И они оставили ее в таком состоянии, что даже исполни я твою просьбу и выгони ее обратно на улицу, она более не сможет заниматься ремеслом, которым в последние полгода спасалась от голодной смерти. Как по мне, самое малое, что джентльмены среднего класса могут для нее сделать, – это обеспечить на пару дней едой и кровом. Рассказать тебе, Альфред, что сделали с ней такие мужчины, как ты?

– Элизабет!

– Мужчины, от которых закон не может ее защитить и которые, может быть, прямо сейчас измываются над ее сестрами, не боясь правосудия, даже не рискуя репутацией. Мужчины, которые знают, что на улицах полно девочек, с которыми они могут сколь угодно предаваться своим извращенным наклонностям. А ты хочешь оградить свою дочь от нее? От нее, а не от них?

Он садится с ней рядом, осторожно протягивает к ней руку. Ее трясет.

– Альфред, если ты вышвырнешь Дженни на улицу, я уйду вместе с ней.

И Алли, думает он, ты забереешь Алли?

– Я не говорил, что ее нужно вышвырнуть на улицу. Я не хочу, чтобы она спала с Алетейей.

– Она сама попросилась. Она любит детей. Она ни разу в жизни не спала одна. Она сама еще ребенок.

– Ребенок? Который полгода провел на улицах?

Элизабет подтягивает к себе колени, упирается в них подбородком. Волосы у нее заплетены в косу, и он вспоминает их первую ночь в Уэльсе.

– На улицах есть дети и помладше нее. И да, они дети, хоть детство у них и украли.

Он пытается представить, что сказал бы на это Стрит, или Эдмунд, или РДС. Жена привела к нам пожить уличную девушку. В комнате дочери на полу спит шлюха.

– Завтра подыщи ей какое-нибудь другое место. И мне не нравится, что она спит с Алли. Я отнесу колыбельку вниз и посплю на кушетке.

* * *

Назавтра он возвращается домой, и Дженни уже нет. Но два дня спустя он приходит, Элизабет куда-то вышла с Алейей – в коридоре нет коляски, – и Дженни, одетая в платье Лиззи, снова спит на его месте. Солнце скользит по обоям с яблоневым цветом, одна туфля свалилась с ноги на персидский ковер, и ее бледное лицо, темные волосы и синее платье выделяются на фоне света и нежной расцветки столовой. Рука у нее по-прежнему перебинтована; Лиззи говорит, что она пыталась – безуспешно – закрыться от осколков стекла. Он приносит со второго этажа бумагу и пастель, садится за стол и начинает рисовать.

Глава 3

«Этюд в серых тонах»

Обри-Уэст, 1866

Холст, масло, 192 × 127

Подписано – О.Б.У., датировано 1866

Провенанс: сэр Фредерик Дорли, 1867; Элайза Мортон – подарок на свадьбу, 1881; Джеймс Данн (арт-дилер), 1891; после 1897 – миссис Джеймс Кингсли (Нью-Йорк); в собственности семьи Кингсли.

Две девочки в одинаковых платьях и туфлях сидят в одном кресле. Их юбки сливаются, и кажется, что в кресле сидит какое-то серое ситцевое существо с четырьмя обувью в черные сандалики ногами, двумя парами сложенных рук и двумя головами – одна чуть выше и темнее другой. Вольтеровское кресло обито серым бархатом, девочки привалились головами к его крылышкам. Волосы у них не убраны, спадают на плечи. Девочка помладше вытянула ноги. За ними – уголок рояля и серо-лиловая стена. Вся картина пронизана светом, но его источник определить невозможно, это как с пасмурным английским небом – время года, время суток может оказаться каким угодно. Девочки глядят прямо на зрителя. Художник даже не попытался скрыть их скуку.

Уткнувшись подбородком в перила, Алли смотрит вниз. Красное дерево кажется теплым, но у него ледяная отполированная поверхность, и стоять босиком тоже холодно. Она прячет руки в рукава ночной рубашки и проверяет, можно ли открыть рот, если подбородком упираешься в перила. Она двигает челюстью из стороны в сторону, словно бы она — частичка дерева, которая пытается высвободиться. Внизу, в коридоре, горят свечи. Папа отказывается устанавливать газовые рожки, тогда цвета станут совсем другими. Она перевешивается через перила, вытягивает губы в трубочку, изо всех сил дует, чтобы пламя заколыхалось. Прицеливаться трудно. Из столовой доносится папин смех, и голоса взывают за ним вслед, будто стайка испуганных птиц.

— Ну что, вышли?

Мэй висит на ручках дверей их спальни, готовясь оттолкнуться от пола.

— Тсс. Нет еще. Все разговаривают.

— Они никогда не встанут из-за стола. Никогда-никогда.

— Тсс. Ты что, думаешь, они тут до утра будут сидеть? Дженни зайдет подмести, а они там так и сидят, в вечерних нарядах?

Мэй перестает раскачиваться на дверях.

— Да. Сидят, и пьют вино из красных бокалов, и смеются.

И когда мы спустимся к завтраку, они там будут сидеть, и в обед тоже.

– Тэсс принесет новые блюда, а они и не заметят! – говорит Алли. – Папа скажет, угощайтесь овсянкой, миссис Сидфорд. И будут разговаривать дальше. Наверное, надо идти спать.

Мэй хмурится.

– Ты говорила, нам достанется десерт, когда его унесут. Говорила. Ты говорила, там засахаренные сливы и рахат-лукум.

Алли выпрямляется, как будто крючок тянет ее голову к потолку.

– Смирясь с разочарованием, мы показываем силу нашего характера, – говорит она. – Ладно. Подождем еще немного. Я буду Обри, а ты будешь РДС, и мы встретили призрака в Венеции.

– Можно я буду призраком?

– Нет. Ты опять забудешь, что завывать надо шепотом.

– Не забуду. Я запомнила. После прошлого раза.

Алли помнит тоже. Воровать сладости – очень дурная затея, такое обычно проделывают дети в книжках, которые дарит ей Обри, но в настоящей жизни ни за что не получится.

– Ладно. Ты будешь призраком. Но давай уйдем в спальню и закроем дверь. Если они все-таки встанут из-за стола, мы услышим.

Этой осенью они больше всего любили играть в венециан-

ского призрака Обри. Иногда папа разрешает им брать реквизит в студии, и тогда Алли любит наряжаться принцессой с копии портрета Луизы Урбинской, которую сделал Обри, — заворачивается в красный бархат, накручивает на голову бутафорские ожерелья, потому что Обри сказал, что призрачная дама была богато одета и усыпана драгоценностями. Чаще всего, правда, им приходится довольствоваться заурядным призраком в ночной рубашке. Первые несколько дней в Венеции Обри и РДС жили в отеле, но отель был дорогой и кишел блохами, поэтому они отправились искать жилье. День выдался жарким, и РДС хотел рисовать отражения в каналах, но Обри заставлял его идти дальше, сверяясь со списком адресов, который им дала какая-то сердобольная дама. Почти все комнаты были уже сданы, потому что многие любят ездить в Венецию, глядеть на воду и рисовать красивые церкви и дворцы. (Да, сказал папа, поедем когда-нибудь, когда подрастешь. Если мама разрешит.) Наконец, уже на исходе дня, когда оба они уже взмокли и устали и тени дворцов скрыли все отражения, они постучались в дверь, которую открыла дама и сказала, да, у нее есть свободная комната, на самом верху, прямо под крышей. Обри и РДС вошли в деревянную дверь и оказались в холодном каменном коридоре, больше похожем на амбар, чем на часть дома, отсюда же открывался спуск к маленькому каналу, чтобы живущие здесь люди могли подплыть к самому входу. Дама провела их еще через одну дверь, и они принялись взбираться по каменной

лестнице, такой исхоженной, что, несмотря на ясный день, карабкаться по скользким ступеням было непросто. Они все поднимались и поднимались, выше и выше, на лестнице становилось все теснее и теснее, и Обри уже не осмеливался поглядеть вниз, но дама по-прежнему шла впереди, держа спину прямо, совсем как мама, и шурша черными юбками. На каждом этаже были двери, которые, как думал Обри, вели в мраморные залы, где каминны размером с мамину кладовую, а окна занавешены ветхими бархатными занавесями. Но дама вела их не в эти залы, а все выше и выше по лестнице и привела наконец к сводчатой двери. На лестничном пролете для всех троих не было места, поэтому Обри остался стоять на ступеньках, по-прежнему не решаясь посмотреть вниз. Она вытащила огромный железный ключ, величиной с половник, и они вошли вслед за ней в открытую дверь. После полутемной лестницы свет, северный свет, льющийся сквозь слуховые окна, ослепил их. Она сказала, что чердак – это одна комната, без перегородок, и что он занимает пространство целого этажа. Им пришлось подныривать под потолочные балки, Обри прежде не видел столь массивных стволов, из таких, наверное, строили венецианские галеоны, которые плавали по Средиземному морю до самой Африки и Святой земли. Когда Обри шагнул во фронтон, то через слуховое окно увидел гнездо с голубятами – нет, не с голубчиками, Мэй, – под колпаком трубы, с другой стороны стекла, которое не мыли с тех самых пор, когда эти самые галеоны

загромождали наш узкий мир собою⁴ (это Шекспир, Алли, когда-нибудь мы с тобой его почитаем). За голубями начались волны красных черепичных крыш, и вдали виднелся купол Сан-Джорджо-Маджоре. Они в любом случае сняли бы эту комнату, но оказалось, что здесь еще и чисто, есть две кровати и другая вполне приличная мебель, а на маленькой печке можно греть воду и готовить. Дама сказала, что стирать белье им может ее прислуга, а за углом есть превосходная трагтория, откуда им могут носить обеды по сходной цене. Свое, отдельное жилье в Венеции! Обри готов был ее расцеловать, тем более когда она – пока они подписывали документы – рассказала им, что какие-то люди уверяли, будто видели тут призрака, знатную даму, жившую здесь двести лет назад. Сама она не знала, с чего бы знатым дамам разгуливать по чердакам, при жизни или после, но, как бы то ни было, призрачная дама была совсем безобидной и даже хорошенькой. Английские джентльмены ведь не испугаются?

Обри понял, что ждет появления призрака, особенно поздними вечерами, когда они с РДС сидели за столом при свечах, писали в дневниках, отвечали на письма и обсуждали случившееся за день. Бывало, он просыпался ночью и вдруг понимал, что силится разглядеть что-то в комнате, где всегда что-нибудь поскрипывало или потрескивало. Днем чердак сильно прогрелся, окон было не открыть, и поэтому

⁴ Цитата из трагедии «Юлий Цезарь»: «Он, как Колосс / Загромоздил наш узкий мир собою...» (Акт 1, сцена 2, перевод П. Козлова).

дверь на лестницу они ночью не закрывали. Может быть, через нее призрак и войдет? Этого, конечно, не случилось. Он знал, что она не появится, ведь призраков не существует. По крайней мере, в дождливой и практичной Англии. Но однажды утром, среди бела дня, РДС встал рано и ушел рисовать, а Обри слонялся без дела, потому что проспал и проснулся с головной болью, как это иногда бывает со взрослыми. Он пытался разложить одежду по местам, как вдруг заметил какое-то движение на другом конце комнаты, прямо возле фронтона. Да, Мэй, там, где были голубята. Треклятая головная боль, подумал он, но фигура не исчезала, и когда он наконец поднял голову, то увидел темно-синее шелковое платье, цвета самого темного оттенка синего на павлиньем хвосте, с пышными, будто паруса, юбками и глубоким квадратным вырезом. Лица ее он отчего-то разглядеть не мог, в утреннем свете оно казалось каким-то размытым, хотя платье он видел так же ясно, как видит сейчас Алли, – но заметил жемчуга в темных волосах и кружевной чепец из того же павлиньего шелка. Страшно ему не было. Она расхаживала взад и вперед по комнате, как это делают встревоженные или погруженные в свои мысли люди, сложив перед собой руки в молитвенном жесте, а может, просто рукава у нее были узкие и женщины раньше так и ходили. Обри стоял там как дурак, так и держа в руках некоторые предметы туалета, – да, Алли, это вежливый способ сказать «нижнее белье». Бог знает, что об этом бы подумала призрачная дама, но она, похоже, его

не замечала. И потом она вот так – пухфф! – и исчезла, а он уселся на кровать, гадая, не задремал ли он, часом, не сошел ли немножко с ума. Может, и сошел, потому что больше он ее не видел, и, кажется, РДС на самом деле ему не верит. А мы верим, сказала Алли, мы верим, правда, Мэй?

* * *

– День новый сияет над берегом морским. День новый скользит по лугам заливным.

Папа тянет последнюю ноту, пока у него не сорвется голос. Он поет эту песню почти каждое утро, но поет так ужасно, что Алли толком не знает, какой тут полагается быть мелодии. Она натягивает одеяло на голову.

– Свет в город летит и летит по холмам. К железным дорогам и в Англию к нам. Девочки, неужели мне нужно спеть еще куплет?

Он стягивает с Алли одеяло. Он раздернул шторы, и свет бьет в глаза.

– Ну же, принцесса Аль. Опять засиделась до ночи, пока мы ужинали? Пора вставать.

Мэй садится в кровати и оглядывается, как будто никогда прежде не видела их спальни. Она оклеена обоями с шиповником, которые папа придумал специально для них, словно бы не хотел, чтобы ночью к ним пробрались принцы, и на полу лежит шелковистый ковер – по мнению мамы, слиш-

ком дорогой для детской, – на котором они иногда летают в Аравию или на Северный полюс. Над столом мама повесила текст в большой черной рамке, против которой возражает папа. Она нарушает узор и перетягивает все внимание на себя. Алли уже выучила текст наизусть – от Матфея, глава шестая, сразу после «Отче наш».

Ты же, когда постишься, умойся и помажь голову твою, чтобы люди не замечали, что ты постишься. Пусть только твой Небесный Отец, Который невидимо находится с тобой, знает об этом, и тогда Он вознаградит тебя, ведь Он видит и то, что делается втайне.

Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина и где воры могут обокрасть ваш дом.

Копите лучшие себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина и куда воры не смогут проникнуть и украсть.

Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце.

Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то и все твое тело будет полно света.

Но если глаз у тебя дурной, то все твое тело будет полно тьмы. Если свет, который в тебе – тьма, то какова же тогда тьма!⁵

Она снова читает текст в рамке, шевеля губами. Как же она узнает, что ее тело полно тьмы? Последние листочки еще цепляются за ветви растущего под окнами бука. Алли слыш-

⁵ Евангелие от Матфея, 6: 17–23, текст приведен в Новом русском переводе.

но, как мама у себя в комнате открывает дверцу гардероба.

– Я налью вам воду, – говорит папа. – Жду внизу через десять минут.

Алли садится и смотрит, как папа льет горячую воду, от которой идет пар, в умывальник с нарисованными внутри розами. Если не коснулась роз обеими ладонями, значит, не помыла руки как следует.

– Вставайте, лежебоки. Чтобы вылезли из кроватей, прежде чем я уйду.

Иногда он уходит и Мэй снова сворачивается в кровати клубочком, опаздывает к завтраку, и поэтому ее оставляют без ужина. Алли встает, чтобы умыться первой.

* * *

– Мэй, мы стараемся есть бесшумно, – говорит мама. – Тебе тост с маслом или с джемом?

– С джемом, – говорит Мэй.

– С джемом?

– Пожалуйста, с джемом, мама.

– То-то же.

Мама сама варит джем из слив, которые растут в саду, и разрешает Алли и Мэй помогать. Им нужно капать джемом с ложки по капельке в холодную воду, чтобы проверить, достаточно ли он схватился.

– Я сегодня утром иду в приют. – Мама протягивает Мэй

тост. — Алли, ты можешь пойти со мной. К сожалению, там недавно появилась девочка всего лишь на год старше тебя.

— А как же я? — спрашивает Мэй.

Папа опускает газету:

— Десять? Ей десять лет?

Мама кивает — и все, будто бы тут больше нечего сказать.

Папа встряхивает газету, складывает ее.

— И ты хочешь познакомить Алли с этим ребенком?

— Кэтрин нужна подруга. Женщины слишком уж с ней носятся.

— Тогда найди ей в друзья ровню. Алли такая подруга не нужна.

Мама выпрямляется.

— Алли нужно понять, в каком мире она живет. Ей нужно учиться приносить пользу.

— Ты слишком маленькая, — говорит Алли Мэй.

Мама впервые предложила взять Алли в приют.

— Как-нибудь потом, — говорит папа. — Она ведь может избрать и другую стезю, и через десять лет выбор у нее будет куда больше. А пока что она еще ребенок, вот пусть ребенком и остается. Мне пора в контору.

— Долг детей — учиться. — Это мамино любимое выражение, и еще: «Наш долг — научить детей». Тетя Мэри говорит, что мама с бабушкой любят это слово, «долг». — Я не позволю девочкам думать, будто все живут так, как они.

— А я не позволю им вместо игр таскаться по трущобам.

Алли, ты никуда сегодня не пойдешь с мамой.

– Алетейя, ты сделаешь так, как я скажу. Пора тебе побыть в приюте.

Алли смотрит то на мать, то на отца. Каша у нее во рту вдруг стала такой густой, что ее никак нельзя проглотить.

Папа встает.

– Ну хорошо. Алетейя, ты хочешь пойти с мамой в грязное место, где живут плохие женщины, или остаться здесь, помочь Дженни и поиграть с Мэй?

Мама ставит кофейную чашку на стол.

– «Плохие женщины», Альфред? Вероятно, потому, что их покупают хорошие мужчины? И я, по-твоему, вожусь с грязью?

Алли не может вымолвить ни слова. Она разламывает языком кашу во рту и сглатывает комок за комком. Кажется, ее сейчас стошнит. Она смотрит на маму, которая не сводит взгляда с обрубков розовых кустов за окном.

– Ну?

Горло у нее сжимается. Последний комок никак не получается проглотить. Они оба на нее смотрят. Мама рассердится. Она вонзает ногти в ладонь.

– Пожалуйста, папа, я, наверное, сделаю, как велит мама. Папа уходит. Хлопает входная дверь.

– Впрочем, я все-таки возьму вас обеих. – Мама подливает себе еще кофе из высокого серебряного кофейника. – Некоторые вещи увидеть никогда не рано.

В приют они идут пешком. Физические нагрузки – лучшее средство от нервических болезней, которыми часто страдают женщины, ведущие праздный образ жизни, а хорошие привычки нужно вырабатывать с юных лет. Холодно, зато над деревьями голубое небо. Алли старается наступать на мамину тень. Мостовая усыпана конскими каштанами в восковой бело-зеленой скорлупе.

– Поторопись, Мэй. Мы не каштаны собирать вышли.

Мэй пытается засунуть каштан в карман, но шипы мешают.

– Ай! – говорит она.

– Вот что бывает, когда мешкаешь и подбираешь с земли всякий мусор, – говорит мама. – Давай, живее.

Алли берет Мэй за руку, они семянят за мамой и, оставив позади большие дома и высокие деревья, сначала идут по улице, куда они с Дженни иногда ходят за покупками, а затем по совсем незнакомой Алли дороге.

– А это далеко от папиной конторы? – спрашивает она.

Папа однажды брал ее с собой на работу, и Обри поил ее чаем и угощал пирогом, потому что папа уходил поговорить с кем-то важным.

– Не так далеко, как ему хотелось бы, – отвечает мама.

Не надо было Алли вспоминать папу после того, что слу-

чилось за завтраком.

* * *

– У меня ноги устали, – бубнит Мэй.

– Тсс, – говорит Алли, хотя и ей уже кажется, что если они не остановятся, то она протрет дыру в ботинках.

Мама шагает впереди, спрятав руки в муфту, отчего создается впечатление, будто она несет что-то ценное. Лавки, мимо которых они проходят, совсем не такие, как те, что возле дома. Все здания ниже, будто окружающий их мир уменьшается в размерах. Вскоре улицы сделаются в самый раз для Алли, а затем и для Мэй – не больше домика для игр их подруги Элис, – а потом для Розамунды, большой куклы Алли, которую Обри подарил ей на Рождество, а потом и для феечек-с-пальчик, которые он дарил Мэй. Экипажи величиной с мышь будут хрустеть под мамиными ботинками. У этих лавок облупившиеся фасады, а окна очерчены толстым слоем копоти, который истончается к центру, будто дыхание на холодном стекле. Продают здесь вроде бы то же, что и везде: мясо, овощи, одежду, горячие пирожки. Здесь им чаще приходится через что-нибудь перешагивать, а в дверных проемах виднеются груды старого тряпья и грязной одежды. Она не видела ни деревьев, ни травы с тех самых пор, как они вышли из дома.

– Мне здесь не нравится, – говорит Мэй.

Мама останавливается:

– Что ты сказала, Мэй?

Мэй глядит себе под ноги, ковыряет пыльную мостовую носком ботинка.

– Ничего, мама.

– Тебе здесь не нравится. Как и тысячам живущих здесь детей. Они хотели бы жить в твоём доме, играть в твои игрушки, есть вкусную горячую еду, которую ешь ты. Они хотели бы спать в твоей чистенькой кровати, проснувшись, видеть розы на стенах и умываться в твоём красивом умывальнике.

У Мэй округляются глаза. Алли сжимает её руку, воображая спутанные волосы на своей подушке, грязные пальцы, которые тянутся к Розамунде.

– А теперь пойдёмте, и вы увидите, как этим детям живётся.

Они снова шагают за ней. Мэй моргает, чтобы не расплакаться. Склонившись к ней, Алли шепчет:

– Она совсем как три медведя. «Кто спал в моей кровати?»

– Она ведь не пустит их к нам домой, правда?

– Папа ей не позволит, – отвечает Алли. – Обои с розами он сделал только для нас.

Где-то в этих карликовых домишках прячутся дети, которые заслуживают всего, что папа делает для Алли и Мэй.

Когда приходит Обри, они как раз летят на шелковом ковре-самолете в Америку. Папа читал им про первопроходцев, которые преодолевают прерии, сотни и сотни миль, больше, чем Алли может себе представить, в крытых парусиной деревянных фургонах, запряженных лошадьми. Дети тоже путешествуют в этих фургонах и вместе с родителями ночуют под открытым звездным небом. Волки воют на луну, то и дело приключаются смерчи и ураганы, но первопроходцы все едут и едут на запад, где их ждут горные фермы и спускающиеся к морским берегам густые леса. Из маминого кабинета Алли и Мэй позаимствовали глобус, и теперь он стоит подле них на полу, пока они пересекают Атлантический океан. Когда Мэй видит внизу кита, выпускающего фонтан воды, а Алли удается разглядеть вдали побережье Новой Англии, начинает трезвонить дверной колокольчик. Папа отправился к клиентке, миссис Дэлби, у нее есть пруд с кувшинками, который когда-нибудь, может, увидят и девочки, а мама в своем приюте, так что некому велеть им спуститься и вежливо себя вести с гостями.

– А еще я вижу дельфинов! – кричит Мэй.

– Только не рядом с китами, – говорит Алли. – Некоторые киты едят дельфинов.

– Мои дельфины убегают, они прыгают, прыгают по вол-

нам, я вижу!

– Не убегают, а уплывают.

Алли хочется есть. Мама, наверное, велела Дженни не подавать чай, пока она не вернется.

– Вообще-то этот кит не ест дельфинов. Это дружелюбный кит.

– Не надо, чтобы он был слишком дружелюбным. Я вижу китобойное судно.

У папы есть книжка про китобойные суда в Арктике. Алли толком ее не читала, но ей нравятся картинки.

– Мэй, ты хочешь есть?

– Нет, – отвечает Мэй. – Мой кит на самом дне моря, и там много китов, с которыми можно играть.

– С ковра-самолета самого дна не видно.

На лестнице раздаются шаги. Несут чай? Стук в дверь. Никто не стучится в детскую.

– Добрый день, – говорит Обри. – Можно войти?

Мэй подбегает к нему, обнимает за ноги.

– Поиграй с нами.

– Останься к чаю, – говорит Алли.

– Это ковер-самолет. – Мэй берет его за руку и тянет за собой. – Мы летим в Америку, посмотреть на бизонов и первопроходцев.

Обри садится.

– Бизоны мне нравятся. И где вы сейчас?

Вслед за ним они пролетают побережье Лабрадора и Гуд-

зонов залив, где трапперы сплавляются на каноэ по ледяным рекам и ровные струйки дыма из стоящих кругами вигвамов растворяются в морозном воздухе. Когда они снижаются над Новой Англией, время поворачивает вспять и склоны холмов усеяны яркими листьями, медными, как у буков в саду, красными, как у кленов в дендрарии, и коричневыми, которыми уже через пару недель покроются каштаны. Листья в саду скользкие и влажные, уже гниют, превращаясь в компост, которым мама в следующем году будет удобрять растения, а в голубом небе Новой Англии ярким белым светом сияет солнце, дети в школьных дворах играют в американские игры, и на крышах полощутся американские флаги. Если хотите, можем приземлиться, говорит Обри, и купить по миске чаудера и по порции тыквенного пирога. Чаудер – это такой суп, Мэй, а тыквенный пирог, по-моему, сладкий, и его готовят с чем-то вроде пряного соуса. Мама однажды сказала, что Обри слишком много думает о еде.

– Соус несладкий? – спрашивает Алли.

– Может, и сладкий. Ладно, летим дальше.

Сверившись с глобусом, они взмывают над подножиями Аллеганских гор, над фермами и садами, где сверкают красные яблоки. Чем выше они поднимаются, тем холоднее становится, и они жмутся к Обри, пристраивая ледяные ноги под его твидовым пиджаком. На горных вершинах лежит снег, а вот следы семейства медведей, которые, Алли, просто ищут место, чтобы впасть в спячку, и тут Дженни в столо-

вой звонит в колокольчик. Наконец-то чай. Всего лишь хлеб с маслом и чайник слабого чая, потому что мама не ждала гостей, а Дженни не считает Обри за гостя, и они пьют чай из ложечек, как будто бы это чаудер, Обри складывает хлеб горкой, посыпает его сахаром и нарезает на порции, как тыквенный пирог, а затем вытаскивает блокнот, берет стоящую в столовой чернильницу и рисует пером бизона для Мэй, которая, как выясняется, представляла его себе больше похожим на крокодила, чем на быка. После того как Дженни убрала чайную посуду, Обри, вытащив из кармана спички, разводит огонь в камине; мама, говорит он, не захочет, чтобы они замерзли. За окнами темнеет, вспыхивают уличные фонари, высвечивая почерневшие после дождя, но еще цепляющиеся за ветки листья. Обри садится у огня в огромное папино кресло, Алли и Мэй залезают к нему на колени, и он рассказывает им историю про двух маленьких венецианок, которые каждое утро плывут в школу на гондоле, пробираясь сквозь туман, поднимающийся с зимнего Гранд-канала.

* * *

Мэй размазывает простоквашу по всей миске. Все, что тебе положили, надо доесть, зато выскребать еду с тарелки запрещается. Папа отодвигает свою порцию. Он не доел простоквашу, а к сливам даже не притронулся. Алли глотает. Одно хорошо, когда ешь простоквашу с фруктами, – она не

застревает в горле.

– Девочки, у нас есть для вас новости, – говорит он.

Ложка Алли падает в простоквашу со звонким щелчком – будто шлепок по голой ноге. По папиному лицу не скажешь, что новости плохие. Может, они поедут с ним в Лондон на следующей неделе?

– Вы знаете, – говорит мама, – что вам обоим нужно научиться зарабатывать себе на жизнь. И еще вы знаете, что когда вы станете взрослыми, у женщин будет гораздо больше возможностей себя обеспечить.

– Да, мама.

– Мисс Джонсон и мисс Ли открывают новую школу для девочек, чтобы приучить хоть какое-то их число к самостоятельному труду. Школу, где девочки смогут изучать не только музыку и французский, но и латынь с математикой. И эта школа в Дидсбери. Вы сможете добираться туда пешком.

– Там вы сможете играть с другими девочками, – говорит папа. – А еще мисс Джонсон уговорила мистера Стотта продать ей свое поле, так что девочкам будет где побегать, поиграть, разбить садики. Вы ведь знаете, что у мамы много дел, и не только в приюте, и она больше не сможет учить вас дома.

– Я могу учиться сама. – Вытащить ложку из простокваши не так-то просто, и она выскакивает с неприличным звуком. – Я еще даже не начинала читать твои книжки, папа. Обри сможет учить нас.

– Вам уже пора ходить в школу, – говорит мама. – Там вас

научат всему, что поможет вам стать полезными для общества, независимыми женщинами. И все, хватит об этом.

Мэй взглядывает на Алли. У нее слезы в глазах. Алли тычет ложкой в простоквашу.

– А разве Мэй не слишком мала для школы?

– Нет, – отвечает мама. – Иначе я бы ее туда не отправила. Так, Алетейя, хватит играть с едой. Вспомни детей, которых ты видела на прошлой неделе, и скажи спасибо, что эта еда у тебя есть.

* * *

В первый день в школу их отводит Дженни. Мама в приюте, папа у клиента. Идет дождь, новая юбка Алли забрызгана грязью.

– Как разведем дорогу, будем ходить переулками, – говорит Дженни. – Там почище и потише. Но в первый день не хочется заблудиться и опоздать.

– Мы ведь можем просто пойти в парк. – Мэй прыгает через лужу, но совсем перепрыгнуть у нее не получается.

– Мэй, негодница, ты всю юбку себе грязью заляпала. Тебе повезло, что ты можешь ходить в школу и учиться. Подружишься там с другими девочками.

– А мне нравится играть с Алли. И еще мы дружим с Обри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.